

А Н Д Р Е Й О С Т Р О В С К И Й



НАПРЯЖЕНИЕ



НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ ЛЕНИНГРАДА

Андрей Островский

Напряжение

«Яуза»

1955, 1964, 1978

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Островский А. Л.

Напряжение / А. Л. Островский — «Яуза», 1955,1964,1978

ISBN 978-5-04-167358-1

В своей книге петербургский писатель Андрей Островский (1926—2001) рассказывает о противоборстве военной контрразведки с немецкими диверсантами в дни Блокады и борьбе милиции с преступностью в послевоенном Ленинграде. В повести «Напряжение», зимой 1941 г., в блокадном городе сотрудники особого отдела расследуют самоубийство военинженера 3-го ранга Евгения Лукинского, трудившегося на оборонном заводе. Рядом с телом убитого найдена немецкая ракетница и гильзы. Следователи предполагают, что самоубийца с помощью ракетницы наводил самолеты противника во время бомбардировок. Один из следователей — капитан-лейтенант Особого отдела Всеволод Бенедиктов был знаком с Лукинским. Во время обыска Бенедиктов находит дневник самоубийцы, после знакомства с которым, начинает сомневаться в добровольном уходе из жизни Лукинского. Распутывая преступление Бенедиктов выходит на след группы немецких агентов, устранивших талантливого инженера. Пока следователь ищет врагов в блокадном городе, умирает его жена, но ничто не может остановить Бенедиктова, и вся группа вражеских агентов была задержана. Название повести прекрасно соответствует ее содержанию, до последней страницы автор держит нас в напряжении и неведении о дальнейшем развитии сюжета. В повести «Ночь не скроет» ленинградские оперативники расследуют загадочное убийство гражданина Красильникова в саду «9-го января». В этой повести есть любовь и ревность, цирк и пистолет чешского производства. Почти год понадобился сыщикам, чтобы найти убийц и выявить цепочку спекулянтов в послевоенном Ленинграде. Повесть «Звонкий месяц апрель» завершает сборник. В ней автор показывает будни ленинградской милиции в послевоенное время.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-167358-1

© Островский А. Л., 1955,1964,1978

© Яуза, 1955,1964,1978

Содержание

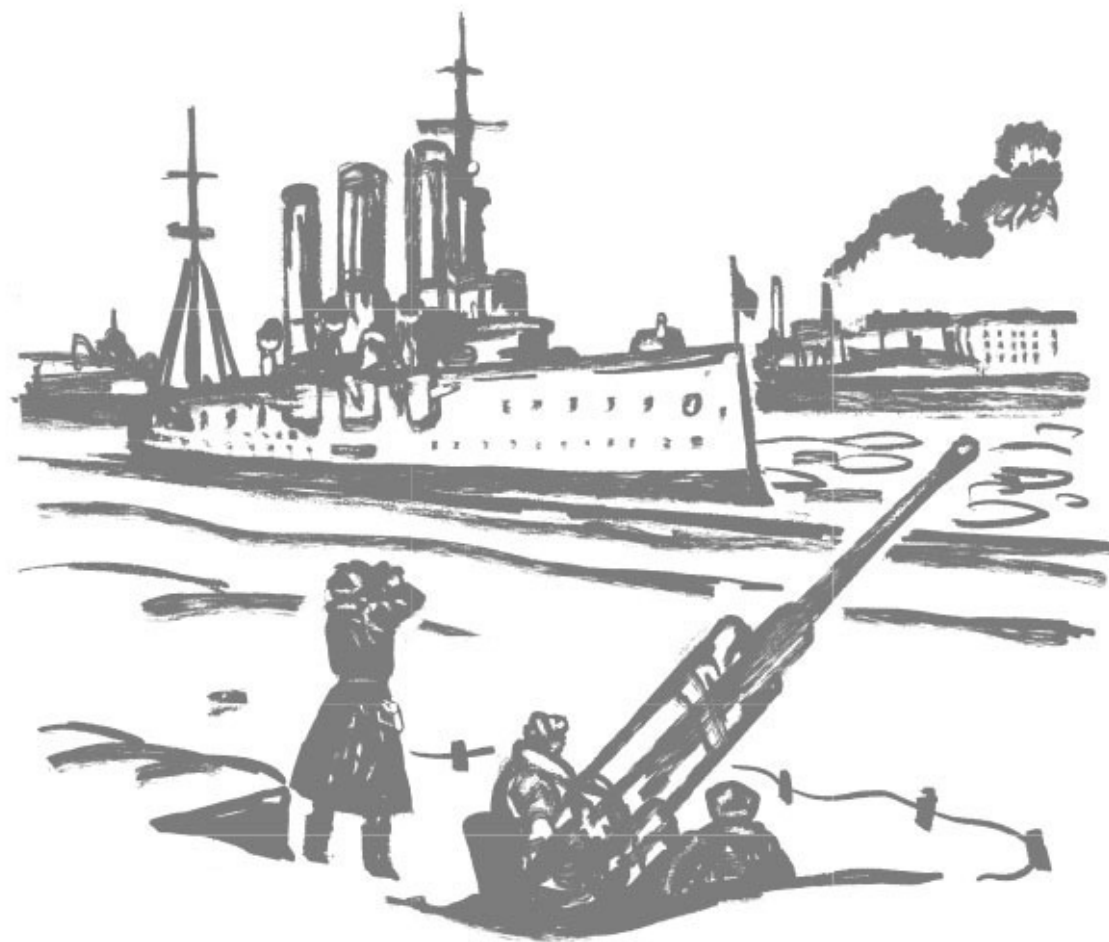
Напряжение	7
1. В тот год...	7
2. Ясности нет	10
3. Школьная тетрадь	16
4. Мать и дочь	25
5. Где он живет?	28
6. Сослуживцы	32
7. Батальонный комиссар	38
8. В госпитале	43
9. «Старшина команды трюмных машинистов»	45
10. О чем рассказал Калинов	49
11. Трое	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Андрей Островский
Напряжение
Невидимый фронт Ленинграда

© ООО «Издательство «Яуза», 2022

© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *



Напряжение

Военным контрразведчикам Балтики

1. В тот год...

Военная зима тысяча девятьсот сорок первого года отличалась необыкновенной суровостью: в середине октября круто подули ветры с Ледовитого океана, сырая стужа вошла через выбитые стекла в дома, заструилась тонкими ветвями поземка, потом снег густым слоем застелил изувеченные улицы; отвердела многоводная Нева, спаяв прозрачный лед с громадами военных кораблей. И – ни оттепели, ни намек на движение воздуха с юга.

Блистательная некогда столица, ставшая первой на земном шаре столицей нового мира, распласталась тенью у Невы, обложенная со всех сторон ненавистными чужаками. Стройные улицы, внимавшие стуку колес великосветских карет, гулкой дробью маршевого шага вооруженных революцией матросов и ликованием праздничных манифестаций, погрузились в неспокойную тишину. Вой самолетов, хлопанье зениток, оглушительные взрывы то и дело терзали ее, и сразу чистый, как над океаном, воздух пропитывался мерзкими запахами войны – пироксилина, крови, гари, кирпичной пыли. Но и тогда – со вспоротыми, выпотрошенными тут, там домами, фанерой вместо стекол, амбразурами в нижних этажах, без Клодтовых коней на Аничковом мосту, со зловещим черным куполом Исаакия, уродливыми горами мешков с песком, укрывшими бесценные памятники, с плавающими в небе тушами аэростатов, – но и тогда Ленинград хранил черты гордого великолепия. Он напоминал израненный дом, где завешены зеркала и остановлены часы.

Исчезли веселые, взбалмошные воробы. Замело ослепительно-белым снегом не дошедшие до парков трамваи – электростанции перестали подавать ток. В домах пересохли водопроводные краны. На топливо ушло все, что можно было сжечь в городе из камня, – топлива не было. Продуктовые склады были пусты, как и магазины. Из холодных кухонь не сочились запахи съестного. Кончился бензин в автомобильных баках. Санки стали самым надежным транспортом. Обессиленные, переставшие обращать на себя внимание женщины с ввалившимися щеками и пустыми глазами тащили их по протоптанным в сугробах тропинкам к прорубям на Неве, обледелым колонкам, выросшим посреди мостовых, чтобы наполнить драгоценной водой кувшины, кастрюли, чайники... На санках везли близких, завернутых в простыни; на санках кончался их путь – путь в никуда. В госпиталях появились дети с недетской печалью в глазах и с культяпками вместо рук, дети на костылях...

Но город не плакал, не стонал. Слезы были выплаканы; ненависть заглушала скорбь. Надеждой было мщение. Оно взывало к сопротивлению, противоборству, оно ожесточало и поднимало в ослабевших телесно силу духа, силу, не поддающуюся измерениям и имеющую лишь один предел – физическую смерть.

Город жил особенной жизнью, какой никогда не жил до него ни один город мира. Подчиненный воле, строжайшей дисциплине, исходящей из единого партийного центра – мозга, сердца обороны, – он выдерживал день за днем, месяц за месяцем немыслимое напряжение, готовя в муках лишений и постоянно висящей угрозы смерти светлый день Освобождения. Не зная, когда придет этот день, он свято верил в него. Вера поднимала на ноги живущего возле станка рабочего, химика в стильной лаборатории, ломавшего голову за ретортами, как научить готовить из несъедобного съедобное; вера вела истощенных, полуживых людей в кинотеатры, где крутили хроникальные короткометражки и добрые, смешные довоенные комедии.

Понять дух жизни осажденного и по всем правилам обреченного города врагу было не дано.

Набожный мизантроп-фанатик, равнодушный к роскоши, вину, женщинам, самоуверенно, с немецкой педантичностью расчел по дням быстрое крушение большевистской России под мощью солдатских сапог и добротного смазанного оружия. Три-четыре месяца (до заморозков!) на разгром Советов и выход к Уралу. Вслед за Москвой смешать с землей Ленинград, землю перепахать! Капитуляции не принимать! В плен не брать!

Расчеты оказались дутыми, превосходство – сомнительным. Давно лютовали русские морозы, а до Урала было далеко, насмерть стояла Москва. Гитлер, страшный в своей ярости, не выбирая слов, поносил командующего группой войск «Норд» генерал-фельдмаршала фон Лееба, этого холеного, спесивого саксонца, которому не хватило ума и сорока трех отборных дивизий взять Ленинград. И все же его больше беспокоили другие фронты: Ленинград – отрезанный ломоть – должен был, не мог не пасть к ногам победителей сам и молить о пощаде – вопрос каких-нибудь дней, в крайнем случае недель.

Уже принимал поздравления назначенный комендантом Ленинграда желчный коротконогий генерал-майор Кнут (несколько бутылок французского шампанского в глубокой землянке для самых близких – банкет потом, *в Петербурге!*). Уже отпечатаны в походной типографии и лежат в штабе аккуратно связанные пачки путевых листов для проезда автомашин по городу – только лишь проставить номера моторов и шасси...

А пока, не считаясь с потерями, каждый день, для устрашения, в одни и те же часы ноюшие, как бормашина, «Юнкерсы» сыпали на Ленинград бомбы.

Пока с тех же мест, откуда двадцать два года назад белогвардейский генерал высматривал в бинокль Исаакий, а денщики чистили белого коня, дабы генерал во всем величии мог въехать в Петроград и начать вешать на фонарных столбах большевиков, с тех же мест и с теми же помыслами францы, зигфриды, гейнцы, вольфганги в соломенных эрзац-валенках, подогретые шнапсом, глумясь и куражась, топтались у окуляров дальнобойных пушек и давили на спусковые механизмы.

Захваченные земли покрылись гнойниками – чем ближе к Ленинграду, тем гуще: в неприметных деревеньках, хуторах, скрытых от глаз домишках осели секретные отделы, зондеркоманды, абвергруппы, отряды полевой жандармерии, тайной полиции... Оттуда, из подвалов, доносились стоны и дикие крики от дьявольских истязаний. Туда, воровато озираясь, прошмыгивали в темноте невзрачные мужички. С натужными, заискивающими улыбочками они нашептывали фамилии коммунистов-подпольщиков, партизанских связных и уносили с собой зажатые в потных кулаках зеленые бумажки оккупационных марок. Оттуда выходили гуськом с автоматами на груди рослые детины жечь непокорные деревни, вешать и убивать всех без разбору.

Наскоро обнесенные высокими глухими оградами школы, где недавно еще беззаботно шумели доверчивые ребятишки и звенели звонки, пропахли казармой. За партами сидели сменившие веру, имена и фамилии злобные мордастые парни. Их спешно натаскивали под недреманным оком не знавших жалости абверовских офицеров прыгать с парашютом, отстукивать морзянку, закладывать адские машины, бесшумно убивать. А инструкторами и сподручниками были те же арийцы рангом пониже, дождавшиеся своего часа оуновцы, айзсарговцы, чистенькие седеющие господа в цивильном, говорившие по-русски, но с едва уловимым нерусским акцентом и старыми оборотами речи – из РФС, НТСНП, РОВС¹ и прочих союзов, бюро, комитетов и объединений «бывших».

¹ ОУН – организация украинских националистов; «Айзсарг» – латышская полувоеенная националистическая организация; РФС – «Русский фашистский союз»; НТСНП – «Национальный трудовой союз нового поколения»; РОВС – «Российский общевоинский союз».

Каждую ночь они тайно выводили группки из двух-трех человек, закончивших обучение и превращенных в манекены. Все было густой ложью в этих манекенах: имя, одежда, документы, жизнь. Их двигали на Ленинград. Они должны были взорвать город изнутри, помочь врагу открыть ворота. Они должны были выведать тайну сопротивления...

2. Ясности нет

Пройдя хоженным не раз путем от Литейного, капитан-лейтенант Бенедиктов, оперативный уполномоченный особого отдела Балтийского флота, вернулся в часть после доклада Дранишникову в четвертом часу утра.

Часть располагалась в центре города, на карликовом островке, опоясанном еще в XVIII веке высокими казенными, ничем не облицованными кирпичными зданиями и узкими, как рвы, каналами, что делало его похожим на мрачную старинную крепость; два деревянных мостика были перекинута на другой, большой остров, казавшийся материком. Козырнув устало, Бенедиктов прошел было мимо бюро пропусков, но громоздкий и тяжелый в своем тулупе до пят дежурный краснофлотец открыл дверь и высунулся наружу. Не сдерживаясь от радости, он поспешил разделить ее:

– Товарищ капитан-лейтенант! Слышали «В последний час»? Наши фрицев под Москвой шарахнули! Только пух да перья... Полный разгром! Гитлер небось в штаны наклал... Вот это да!.. Теперь пойдет дело... Теперь и от Ленинграда погонят, как часы!..

Бенедиктов сам находился под впечатлением этой первой, с нетерпением ожидаемой большой победы, о которой услышал по радио у Дранишникова, и восторг дежурного был ему близок, понятен. Обсудили, что означает эта победа для нас и поражение для фашистов, припомнили цифры подбитых немецких танков, потерь живой силы и взятых трофеев... И вдруг дежурный, спохватившись, сообщил потускневшим голосом, что капитана-лейтенанта разыскивали еще с вечера и просили срочно позвонить по телефону. Сердце Бенедиктова сжалось: «Тася?! С ней что-нибудь?..» Схватил обрывок газеты с нацарапанным карандашом номером – отошло: телефон был Приморского отдела милиции.

Бенедиктов валился с ног от усталости: последние три вечера, проведенные с группой краснофлотцев в настойчивых, но безуспешных поисках ракетчика на набережной Васильевского острова, вконец измотали его. Чувствуя, что выдыхается, Бенедиктов рассчитывал поспать хотя бы до восьми, но сообщение дежурного заставило изменить планы.

Короткий сон не освежил. Невыспавшийся, разбитый, с заплаканными глазами, он покинул свою клетушку в круглом, как барабан, здании еще до пробудки и, наскоро выпив кружку горячего чая с ломтиком черного хлеба, вышел, поеживаясь, в темноту, на мороз.

Ниже среднего роста, широкий в кости, большеголовый, с крупными чертами лица и чуть косым разрезом глаз, выдававшим далеких татаро-монгольских предков, Бенедиктов все свои тридцать четыре года прожил в Ленинграде, великолепно ориентировался в городе и любил ездить по его улицам. Однако теперь, когда транспорт встал и единственным средством передвижения оказались ноги, отшагивать километры берегущему силы полуголодному человеку было физически трудно, к тому же на ходьбу тратилась уйма драгоценного времени. Чтобы использовать его, Бенедиктов обдумывал добытые накануне сведения и возникавшие в связи с ними вопросы, не забывая, впрочем, отсчитывать линии и стараясь не упускать из виду тропинку, петлявшую среди наметенного снега.

На Васильевском острове, казалось, было еще холоднее, нежели на материке. На брови, ресницы, мерлушку опущенной по самые глаза флотской ушанки налип иней. Пальцы одеревенели. Бенедиктов сжимал и разжимал их, но вместо тепла лишь испытывал боль у ногтей.

Начали попадаться редкие прохожие, возле зениток на набережной копошились расчеты, где-то вдали громыхали взрывы...

Когда показалось в глубине улицы за оградой облупленное здание районной милиции, солнце уже взошло, красное и размытое в своих очертаниях. Бенедиктов потянул на себя дверь – тугая пружина щелкнула и задребезжала, – потопал, чтобы сбить с валенок снег, и поднялся по грязной промерзшей лестнице.

Кабинет начальника отдела Калинова был открыт, но пуст. Бенедиктов нетерпеливо двинулся по коридору, заглядывая подряд во все комнаты, пока в одной не заметил его. Капитан захромал навстречу, опираясь всем телом на старинную клюку, и по пути приказал разыскать Жукова.

– А я только неделю, как из госпиталя, – объяснил он Бенедиктову, спросившему о хромоте. – Осколки клюнули, семь единиц. Шесть вытащили – четырнадцать грамм, седьмой оставили на память от ганса... Пустячок, но неприятно...

«Все та же ироничность, те же колющие глаза, – отметил Бенедиктов, знавший Ромку Калинова еще опером в управлении милиции, – и лицом не сдал... Держится».

Пропустив его в кабинет, Калинов прикрыл за собой дверь.

– Были времена, а теперь моменты... Угостил бы, да, сам понимаешь, нечем – ни горячего, ни холодного, прости, – сокрушенно вздохнул он, цепляя клюку за край стола; сел тяжело, вытянув одну ногу. – Садись.

Бенедиктов сразу учуял, что от огромной изразцовой печи в углу, протопленной, по-видимому, накануне, исходит тепло, и пододвинул к ней стул. Но садиться раздумал – побоялся разомлеть от постоянного недосыпания. Расстегнул шинель.

– Знаю, гостеприимный хозяин... Так чем порадуешь? – спросил он, прикладывая растопыренные пятерни к охладившемуся до температуры человеческого тела зеленому кафелю.

– Самоубийство, – сказал Калинов и поморщился от боли, крикнул. – Вот зараза, не унимается... Плохо раны заживают, витаминов не хватает... Да, самоубийство. Ваш тут гусь один лапчатый порешил себя.

– Почему же «гусь», да еще и «лапчатый»? – повернулся к нему Бенедиктов и стал растирать покрасневшие руки.

– Ракетчика держали у себя под носом. Разве не гусь?

– Вот как? – сдерживаясь, чтобы не выдать волнения, спросил Бенедиктов. – И кто же он?

– Сейчас... Жуков! – гаркнул Калинов почти одновременно с отворившейся дверью. – А, вот и он. Заходи, Иван Иванович, заходи.

На глаз Бенедиктов дал Жукову лет шестьдесят, не меньше. Невысокий и, должно быть, толстый в прошлом, он исхудал – кожа висела складками на его нездоровом и небритом лице. И старомодное драповое пальто с полами чуть не до земли тоже висело, словно чужое, хотя чувствовалось, что под ним накручено немало тряпья. «Из отставников», – подумал Бенедиктов, пожимая ему руку.

– Капитан-лейтенант из особого отдела, – представил Калинов Бенедиктова, – можешь говорить все.

Из рассказа Жукова Бенедиктов уяснил для себя следующее. Техник Пискунова, дважды посланная на квартиру старшего научного сотрудника военинженера третьего ранга Лукинского выяснить причину его трехдневного отсутствия в части, заявила в милицию, что на стук в дверь ей никто не ответил, а дверь заперта. Жуков, принявший заявление, вскрыл замок и обнаружил Лукинского мертвым, с простреленной головой; в руке его лежал пистолет «ТТ», а возле окна – немецкая ракетница и три стреляные гильзы. Врач констатировал самоубийство.

– Выходит, выпустил ракеты и застрелился. Так? – спросил Бенедиктов больше себя, нежели Жукова, и посмотрел на него. – В чем же причина, как по-вашему?

Жуков откашлялся, прикрывая маленькой ладонью рот, потом сказал:

– Запутался... Но могло быть и так, что кто-то заметил ракеты из его окна и стал ломиться в дверь.

– Логично. Но не совсем. Стал ломиться и недоломился?... Вы опросили людей? Дворников?

– Нет... Мы сразу позвонили вам.

– По-нятно... – протянул Бенедиктов с еле заметным осуждением. – Но опросить нужно, сделайте это, пожалуйста. Капитан, я думаю, не будет возражать.

Калинов поморщился, на этот раз не от боли.

– Ах какой хваткий! У меня же людей нет, работать некому... Ну да ты ведь не отвяжешься, что с тобой поделаешь, по старой дружбе... А ты этого Лукинского знал?

– Нет, – покривил душой Бенедиктов, чтобы избежать лишних вопросов, и спросил Жукова: – Вы все оставили в неприкосновенности?

Жуков еле волок ноги, задыхался. Паспортистка жакта, приглашенная понятой, тоже немолодая и слабая, плелась позади него. Жалея их, Бенедиктов просил не торопиться и сам, насколько мог, сдерживал шаг, но все равно время от времени приходилось останавливаться и поджидать стариков. К несчастью, Лукинский жил на пятом этаже, лестница оказалась крутой, и на восхождение потратили без малого полчаса.

На узкой площадке Жуков сорвал пломбу с правой, обитой дерматином двери (всего их на площадке было две), поковырялся в замке.

– Заходите, – кивнул он, точно приглашая к себе в гости, и, пошаркав, исчез в темноте коридора.

Бенедиктов вынул фонарик «динамо» – желтое расплывчатое пятно то ярче, то слабее скользнуло по давно не менявшимся обоям с крупными цветами, пустой вешалке, деревянному ящику телефона и провалилось в пустоту дверного проема.

Комната была проходная. Лукинский жил в другой, служившей, видимо, спальней, в которую он перетащил остатки мебели из проходной.

Не переставая жужжать «динамкой», – лишь одно небольшое стекло в окне чудом уцелело вверх, остальные заменили обрезки фанеры, картона, кое-как приколоченные к оконным переплетам, – Бенедиктов увидел Лукинского, лежащего возле письменного стола, на боку, с поджатыми ногами в бурках. Был он в пальто, в перчатках, и, вероятнее всего, в шапке, отлетевшей после выстрела. Под ним растеклась большая лужа крови; она замерзла и напоминала застывшую старую краску. Запачканым кровью оказалось и ватное одеяло в грязном пододеяльнике, свисавшее со спинки стула.

Бенедиктов снял с ладони мертвеца «ТТ» – в магазине не хватало одного патрона; гильзу от него он нашел в пыли под книжным шкафом. Ракетница, совсем новая, валялась в углу, у подоконника, рядом с металлической, серого цвета, коробкой. Сидя на корточках, он откинул полукруглую крышку, вложил в гнезда ракетницу и гильзы.

Потом осмотрел окно. Одна створка была прикрыта неплотно – в щель за эти дни надуло снежный бугорок с мягкими неправильными обводами. Окна выходили на набережную – место весьма удобное для наведения на цель бомбардировщиков, – балкона не было, карниза тоже.

Между тем Жуков, показавший Бенедиктову все, на что, по его мнению, следовало обратить внимание (Бенедиктов сразу оценил опыт и высокую квалификацию милицейского оперуполномоченного), остался как бы не у дел. Он потоптался в нерешительности, потом остановился подле трупа, вглядываясь в перекошенное, с отвисшей челюстью лицо Лукинского. «Вражина, сволочь вонючая», – услышал Бенедиктов злой шепот, и ему показалось, что Жуков сейчас пхнет труп.

– Чья комната в коридоре слева? – спросил он.

– Соседей, – отозвался Жуков. – Муж, лейтенант РККА, на фронте, жена с девочкой тринадцати лет в эвакуации с сентября месяца.

– Ну, хорошо, посидите пока...

Набросав план квартиры, Бенедиктов осмотрел замок входной двери, коридор, кухню, удостоверился, что комната соседей прочно заперта, и принялся за вещи Лукинского.

Первый же выдвинутый наугад ящик письменного стола ломился от бумаг. Бенедиктов покачал головой и зажег стоявшую тут же коптилку, вытряхнул на стол бумаги. Книжечка МОПРа... Не надо, в сторону...

Пачка жироприказов... Туда же...

Диплом.

«Выдан Лукинскому Евгению Викторовичу в том...»

Нужно, обязательно...

Журнал «Вестник кораблестроения», 1935 год. Статья Лукинского... Может пригодиться...

Черновик статьи... К журналу...

Детский рисунок цветными карандашами – корабль со стреляющими пушками; на обороте кривые печатные буквы:

Невольно умилился: детей у Бенедиктова не было, а любил их... Не надо, в сторону...

Удостоверение Осоавиахима... «Ворошиловского стрелка»... Не надо.

Письмо:

«Милый мой чернобровенький... Когда становится тошно, вспоминаю твои...»

Еще письмо:

«Уважаемый Евгений Викторович! Статья Ваша представляет значительный интерес и содержит... доктору технических наук, профессору З. В. Токмаку... надеемся на...»

Еще:

«Женюрка! Бить тебя некому, злодея! Забыл нас совсем... Ирина Лукинична прихварывает... Фрукты на рынке еще дороги...»

Все письма собрать вместе. Надо...

Папка с фотографиями. Лукинский, видимо, с женой и сыном на фоне «американских гор»... Двое каких-то пожилых людей (мужчина и женщина) ... Лукинский выступает с кафедры... Лукинский в седле, в красноармейской гимнастерке... Групповая фотография выпускников института... Лукинский с женой среди гостей за праздничным столом... Надо...

Справка о прививке Лукинскому оспы... Боже, сколькими бумагами обрастает человек за жизнь!.. Не надо...

Школьная тетрадь.

«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя... Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем... Имею ли я право жить с ним?..»

Любопытно. Очень важно!..

Квитанция на починку часов... Не надо.

В верхнем среднем ящике он сразу увидел сберегательную книжку, раскрыл – остаток тысяча сто тридцать девять рублей шесть копеек. Из глубины выгреб облигации займов вместе со смятыми, неряшливыми блокнотными листками, беспорядочно исписанными какими-то формулами. Деньги – двести восемьдесят шесть рублей, хлебные и продуктовые карточки

(последний талон на хлеб – за девятое число) лежали тут же, на самом виду. Ограбление исключалось. Деньги, облигации, карточки и книжку Бенедиктов завернул отдельно.

От сосредоточенного внимания, тусклого света коптилки он быстро устал, почувствовал слабость, головокружение. Для передышки занялся железной печкой-буржуйкой, полной бумажного пепла. Вынув с предосторожностями хрупкие, скореженные огнем лепестки, увидел строчки типографского шрифта и сунул обратно.

Блокнотные странички с формулами внесли какое-то смутное беспокойство. Бенедиктов просмотрел их более внимательно: формулы перемежались с какими-то схемами и набросками необычных судов, напоминающих подводные лодки. На одном, вверху, небрежной скорописью было написано (Бенедиктов с трудом разобрал слова):

«Расчет необходимой мощности паровой турбины».

Хм... Повертел листки...

И вдруг мысль, пришедшая в голову, заставила его с поспешностью поставить коптилку на пол. Помогая фонарем, он разглядывал половицу за половицей затоптанного, в песке и пыли паркета, пока с удивлением не натолкнулся на след кружка с пятикопеечную монету, должно быть, от резинового наконечника костыля. Бенедиктов не припоминал, чтобы Лукинский был ранен или жаловался на ноги. Значит, кто-то его посещал? Костылей было два – следы вели в коридор и прихожую.

Проверил на всякий случай квартиру и, не найдя костылей, снова присел на корточки в комнате. Он уже потерял было надежду найти то, что искал, как возле кровати увидел серую спекшуюся крупинку, еще несколько было рассыпано поодаль... Боясь дышать, Бенедиктов собрал их на чистый листок бумаги. Потом поднялся, удовлетворенный, потряхивая кисть руки, которую до судороги свела «динамка».

Дубовый шкаф, обшипанный топором сверху, с боков, без ящиков, с остатками резных дверец, в другое время навел бы на размышления о душевной болезни Лукинского, но Бенедиктов как бы не заметил этого. Его интересовало стекло. Мутные, захватанные стаканы сохранили множество отчетливых отпечатков пальцев...

Кроме стекла, грязной посуды, пустых консервных банок да каких-то тряпок, в буфете ничего существенного не оказалось, за исключением, пожалуй, нескольких рисовых зерен: они явно не были просыпаны, а аккуратно выложены на самой середине платочка фиолетового шелка с кружевной отделкой. Зачем?

Не найдя объяснения, Бенедиктов завернул их в платочек и положил к вещам, предназначенным для изъятия.

В этот момент в дверь забарабанили так, будто, спасаясь от преследования, кто-то искал в квартире убежища. Кроме врача, вызванного от Калинова, стучать было некому. И все же Бенедиктов на всякий случай снял предохранитель с пистолета и пошел открывать.

– Покойника разбудите, – недовольно пробурчал он, впуская крупную, мужеподобную Верочку Мелик-Еганову, врача военно-морского госпиталя, – и соседей напугаете. Как дошли?

– Не говорите, цела, – громко сказала она, по-солдатски топая по коридору. Увидела Жукова и паспортистку – поздоровалась. – Пока, тьфу, тьфу, Бог милует. Только подумайте, хотела сократить путь, перейти Неву по льду, уже спустилась, и – артобстрел. Чуть ли не первый снаряд как раз угодил в тропинку на самой середине. Сколько крови, сколько людей под лед пошло! Пришлось задержаться, помочь чем могла. А могла и там быть... Изуверы, изверги, слов нет!..

– Действительно милует, – сочувственно отозвался Бенедиктов, подумав, насколько свyksя он с бомбардировками и обстрелами, что даже не обратил внимания на пальбу. – Это в каком же месте?

– Напротив Медного всадника.

Он подвел Мелик-Еганову к труп. Она приподняла Лукинского за плечи; Бенедиктов помогал ей, освещал одновременно коптилкой и фонарем голову – вся правая половина лица Лукинского посинела, хлынувшая из развороченного пулей виска кровь запеклась, сквозь черные корки проступала рваная кость.

Намеренно не высказывавший своих соображений, Бенедиктов молчал, с нетерпением ожидая, что скажет врач. Ему показалось, что слишком долго она осматривает рану. А она сильными пальцами расстегнула пальто на Лукинском, оголила его тощую шею, грудь...

– Самоубийство, – сказала она, выпрямляясь. Сняла резиновые перчатки, заправила под шапку выбившиеся рыжие волосы. – Я вижу здесь самоубийство.

– Значит, по-вашему, убийство начисто исключено?

– Я бы так не сказала. Вероятность убийства никогда не может быть полностью исключена. Но в данном случае я, честно говоря, не верю в него. – И после минутного молчания прибавила: – Если убийство, то весьма умелое и аккуратное. Так или иначе, мы отправим труп на экспертизу, и тогда уже никаких сомнений не будет.

– Да, пожалуйста, только сделайте это в максимально короткий срок. Нам необходимо иметь заключение завтра, – сказал Бенедиктов, садясь за составление документов.

Когда бумаги были подписаны, он дунул на пламя коптилки и, кашлянув от поплывшей по комнате керосиновой вони, поблагодарил всех и разрешил расходиться.

3. Школьная тетрадь

Всего какую-нибудь неделю назад Бенедиктов обедал с Лукинским за одним столом в кают-компании, закутке, отгороженном для комсостава от общей столовой.

Его сутулая фигура появилась в тот момент, когда официантка Варенька принесла Бенедиктову жидкий пшениный суп. Лукинский сел напротив, потянул носом: «Ну-с, что сегодня подают?» – «Все то же, Евгений Викторович, все то же...» – улыбнулся Бенедиктов. «Хорошо, что я не гурман. Вы когда-нибудь имели дело с гурманами? О, прелюбопытнейший народ!» И, не ожидая, что ответит Бенедиктов, рассказал про своего знакомого, который варил сосиски в сливках, посыпал свиную тушенку сахарным песком, а зеленый горошек перемешивал с яблочным вареньем – подобные комбинации назывались у него «симфонией вкуса».

За тем же обедом разговорились о штормах (на улице было ветрено, и Балтику наверняка штормило); Лукинский вспомнил, как однажды на испытательных стрельбах в Финском заливе его смыло с катера. Четыре часа швыряло его в волнах – держал капковый жилет, – и уже в темноте, когда мутилось сознание, его нащупали прожекторами и подняли на буксир. «И знаете, что спасло меня? – задержал он ложку у рта. – Жить хотел, верил в спасение, убежден был, что спасут. Думаете, мистика? Не-ет. Мы совсем не изучаем психологический фактор, а зря...»

Жить хотел... Тогда. А теперь?

Бенедиктов сидел за письменным столом в кабинете на Литейном. Рядом, возле сейфа, заправленная койка на случай нужды заночевать. Настольная лампа под зеленым абажуром; разложенные на кучки бумаги Лукинского. Тепло от батарей, электрический свет – в немногих домах такое блаженство! – напоминали довоенную жизнь, домашний уют, но Бенедиктову, как бы ему ни хотелось, нечасто удавалось тут задерживаться. «Тасю бы сюда, хотя бы на недельку, – думал он каждый раз о жене. – Как она страдает от холода!»

Взялся за бумаги.

Лукинский... Лукинский... Проступило призрачно лицо – узкое, с высоким лбом, седые реденькие волосы, набухшие веки над воспаленными близорукими глазами – выглядел он явно старше прожитых сорока лет.

В части отзывались о нем кто как: недобрый, порядочный, излишне импульсивный, непрактичный, лишенный честолюбия, «не скованная условностями индивидуальность» и проч., сходясь в одном, что инженер он талантливый и яркий. Но что бы ни говорили про Лукинского, подозрений в его тайных общениях с врагом ни у кого, в том числе и у Бенедиктова, не возникало.

Теперь же не подозревать его было невозможно. Бенедиктов просмотрел характеристики. Они были хорошие, с упоминанием заслуг и утверждением политической грамотности и моральной устойчивости Лукинского, как, впрочем, большинство официальных характеристик.

Письма Лукинского никакого интереса не представляли – семейные дела, мимолетный роман довоенной давности, домашние заботы, приветы, поцелуи... И круг лиц невелик. Бенедиктов переписал фамилии в блокнот, потом отыскал школьную тетрадку, привлекавшую его внимание еще на квартире инженера.

«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя, не уберег Егорку, чудо наше, длинноногого несмышленьиша. Только-только начинал открывать для себя мир человек, восторженно смотрел на него с любоп(ытством) и доверч(ивостью) блестящими глазами. Что показал я ему? Жестокость. Что дал достат(очно) поживший на этом свете и обязан(ный) стать мудрым отец?..»

Не уберег, а сам остался. Нет мне оправд(аний). Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем. Может ли быть что-н(ибудь) тяжелее такого груза? Имею ли я право жить с ним? («Обратить внимание на абзац 2 первой страницы», – пометил у себя в блокноте Бенедиктов.)

Однажды перед сном Егорка спросил меня: «Папа, а люди обязат(ельно) умирают? Все-все? И мама умрет, и ты?» Я ответил, тогда он спросил печально: «И я умру?» – «Да, – сказал я, – и ты тоже, но это будет очень нескоро. К концу жизни люди устают, для них см(ерть) не кажется такой ужасной, они готовы к ней». Он мне не поверил. «Как это так: я – и вдруг умру? – сказал он. – Все останется, а меня не будет. Нет, так не может быть...»

Оказ(алось), может. Ах, малыши мой, малыши!.. Знать бы тогда, что уготовано тебе!

Сколько мне еще отпущено? Ск(олько) бы ни было до конца, до последнего буду казнить себя за легкомыслие, нерасторопность, за чудов(ищно) неверно принятые реш(ения). В жизни принимаешь их много. Но есть главные, ты обязан решать их прав(ильно). Почему не отправил вас из Л(енингра) да тогда, в начале августа? Ты бы, добрая... душа, защитила и оправдала бы меня. А я не буду. Разумеется, мы многого не знали. Но у меня-то копошились такие мыслишки: как же я ост(анусь) без Наденьки? Не привык я быть один. Одному мне неудобно. Знала ли ты, что для меня, каприз(ного) ревнивца и белоручки, ты была всем?! Я без тебя – беспомощен.

Был ли я для тебя всем? О, если бы так!

Вечная трагедия: чел(овек) оценивает себя и свои пост(упки) после случившегося, когда невозможно ничего поправить. После, а не до!

Всегда ли я был справедлив к тебе? Нежности мне не хват(ало), раздражался по пустякам. И слабости мои, будь они прокляты... Ск(олько) было великолепных мыслей, идей, ухватиться бы за одну и тянуть! Неудачи сбивали с ног, кидало из стороны в сторону. Тебе же хотел доказать, что я чего-нибудь стою. Как я тебя любил!

Зачем я пишу? Не знаю...

Нет, знаю прекр(асно), лгу сам себе. Карандаш и тетрадь – мое спасение, жалкий остаток моей жизни. Кое-как поддерживал еще интерес к нерешенной задаче, но вчера и этому конец. («О какой задаче идет речь? Страница 3», – записал Бенедиктов.) Что же дальше? Пустота? Раньше у меня никогда не возникало потреб(ности) писать. Потреб(ность) – та же необх(одимость). Зачем было уединяться с мертвой бумагой, когда не успевал жить, когда рядом была Наденька, был Егорка, были милые С., стеснительный до болезненности молчун Т., язвительный, парадокс(ально) мыслящий Ч., наконец, Б. В прошлом. С. все в могиле, у Т. свои заботы, Ч. уехал с заводом на Урал, Б. ... Б. жив, но для меня умер, след(овательно), не существует.

Боже мой, какая жуткая тоска! Как страшно сидеть одному, в пальто, да еще под одеялом, в этой хол(одной) прокоптелой халупе, смотреть на туск(лое) пятно коптилки и думать, думать... Пытка, самоистязание. Когда водишь карандашом – легче. Вроде бы дело. Не дело, кон(ечно), видимость одна, но отвлекает.

Раздобыл две доски в разр(ушенном) доме. Разбил стулья, кроме одного. Теперь щеплю буфет. Экономлю для растопки. Топлю Брокгаузом. Том на день и еще кое-какие книжонки.

Все равно холодно, тепла хватает на полч(аса). Вода в кружке не вскипает. Мерзнут ноги, пальцы, пишу в перчатках, весьма неудобно».

Чувствуя, что перестает улавливать смысл, Бенедиктов отложил лупу, выпрямился, потер слипающиеся веки, полистал вперед странички – еще порядочно! Лукинский писал твердым карандашом, прорезавшим бумагу, почерк у него был дрянной, к тому же, торопясь или из-за экономии, он обрывал слова.

Сняв китель, Бенедиктов повесил его на спинку стула. Потом сходил к титану на этаже, налил стакан кипятку и, вернувшись, отпил несколько глотков.

«Память – как сбившийся маятник: прошлое – настоящее – прошлое – будущее... О будущем стараюсь не думать. Оно неясно, но я верю... («Во что?» – написал для себя Бенедиктов, обозначив страницу.) И знаю: меня оно не коснется. (Отметил в блокноте и эту фразу.)

Вчера шел по каналу в часть. Тихо и пустынно. Только впереди брела старуха. Поковыляет – и за стену. Потом совсем сдала – схватилась за водосточную трубу, клонится к земле. Попробовал ее поднять, увидел – не старуха, а барышня, лет двадцать ей – дочка наших соседей по дому. Знал ее очаровательной девчоночкой, вся в кудряшках, умница. Что стало? Лицо ссохлось, пожелтело, в морщинах, под глазами мешки, губы синие.

Повел ее к дому. Повисла на мне. Тяжело, самого ноги не держат, одышка. «Оставьте меня, идите», – а сама глотает воздух. Тащил ее, пока не выдохся. Посадил на тумбу, пошел.

Когда возвращался, она сидела на том же месте. Было все ясно.

Представил мою бедную Н. Поднял ли ее кто-нибудь? Или прошел мимо? На какой улице нашла она свое последнее пристанище? У какого дома? А может быть, бомба, снаряд?.. Лучшие не думать.

Скрипнула дверь. Это наша хозяйка пошла в хлев доить корову. Н., заспанная, в халатике, ворча сует мне крутые яйца, бутерброды и бутылку с водой. Е. спит. Солнце еще низко, тени длинные, прохладно. Я иду с удочками по густой матовой траве – ноги мокрые от росы, – прохожу рожицу с молодыми березками и каждый раз люблюсь ими: нет в природе более красивого дерева! Река таинственная, тихая; туман уже приподнялся над темно-желтой водой. Сажусь у омута; молодежь стайками резвится на солнце у песчаного берега. Поплавок недвижимо... Вдруг набегают ветерок, воду передергивает мелкой рябью, как тело мурашками, – и снова покой, тишина! Какая благодать! Родина моя, Русь! Сколько топтали тебя иноязычники сапогами, копытами, колесами, гусеницами, жгли, рушили, грабили! Сколько страданий вынесли люди! И эта цивилизованная орда туда же... Они у тех березок, у того омута, они подобралась к моему дому, убили мою Н., убили моего Егорушку. Ненависть и проклятье! Казалось бы, умные, а – глупцы. Не понять им, что вечна Россия, никто и ничто не может ее скрутить. Никто и никогда. (Бенедиктов отметил последние строчки.)

Беда сближает, большая беда – объединяет. Когда умер Егорка, трое разных людей из отдела предлагали мне перебраться к ним жить. И даже Елс. – кто бы мог подумать! – личность мне, в общем-то, несимпатичная. Но в данном случае это неважно. Наоборот. Зов еле стоящих на ногах людей быть вместе, не разъединяться, делить крохи из общего котла на всех и сообща выжить не может не вызвать восхищения. И вот этот человек. Познакомился с ним в очереди за хлебом. Не запомнил сразу его имени и отчества – кажется, Сергей Степанович, – а теперь спросить неловко. Обязан ему чрезмерно поддержкой в тяжкие

минуты. («Стр. 11. Знакомство», – написал в блокноте Бенедиктов и поставил жирный восклицательный знак.)

Опять налет. Дрожат стены. В бомбоубежище не хожу. Упадет бомба, черт с ней, пусть только прямо сюда. Все опостылело, все мерзко. («И следующий абзац. Настроение», – записал Бенедиктов.)

Все в мире имеет свою привычную и устойчивую цену. В обычное время. Сейчас же, как на бирже в панику: одни цены подскочили, другие – под ногами. Всему другая мера, другая цена – жизни, хлебу, золоту, книгам, доброте, подлости.

Думаю о Б. Против своей воли. Потеря его не причиняет ни горечи, ни печали. Серая пелена на сердце – и все.

Но как-никак почти пятнадцать лет короткого знакомства...

Его любила моя мать. Он стал как бы моим братом и вторым ее сыном. У нее вызывало сострадание детство Б.: крестьянский мальчишка, сирота, заморыш, изгой. Он рассказывал, как избивали его до крови хозяева, кормили помоями, издевались и пр. Может быть, то же самое чувство, но, может быть, и моя невольная вина перед ним заставляли меня прощать ему многое до самого последнего времени. Но не все!

Он воевал против Деникина, потом работал молотобойцем в кузне. Я тоже был на фронте, под Петроградом. И тоже учился с пятого на десятое. И вот нас свело вместе, великовозрастных рабфаковцев, за одной партой. Меня поражали его цепкий ум, склонный к анализу, и жажда знаний. Он жил у нас неделями. Мы занимались до умопомрачения, как могли, развлекались и ничего не таили друг от друга. Доверие и искренность – величайшие блага дружбы, ее основание. Так считал я. Он уверял меня в том же, но позднее я убедился, что для него это были лишь слова.

До мелочей помню тот бесподобный летний день – день, с которого начались испытания нашей дружбы. Но все равно прекрасно, что он был!

Я ждал Б. на набережной у Летнего сада. К удивлению, он пришел не один. «Знакомся, Фефела». Ошеломили синие глаза и синий берет – первое мгновенное впечатление. Она рассмеялась звонко, протянула руку: «Надя». Мы поехали на водном трамвайчике в ЦПКиО, катались на лодке, шиканули в кафе на открытом воздухе. Все удавалось в тот день. Мы с Б. изоцрялись в остроумии, развлекаая Н., дурачились, было весело, свободно, и казалось, что мир безоблачен.

Наши прогулки повторялись. Каждый раз я ждал их с волнением: меня безудержно тянуло к Н. Когда Б. в очередной раз не пришел по какой-то случайности и мы оказались вдвоем, я понял, что ей тоже не только не безразличен, но и больше. Я проводил ее до дому и назначил свидание; через день мы встретились вновь. Но свидания мне были не в радость. Меня угнетало сознание, что совершаю нечто нечестное, мерзкое за спиной Б., и я решил ему открыться.

Три часа мы бродили по улицам. Он выслушал меня и упрекнул раздраженно, с обычной своей грубоватостью: зачем я лезу к нему с дурацким благородством, кому оно нужно в

XX в.? Так мужчины не поступают. Раз повезло – бери. Или я хочу сохранить в целости овец и сытыми волков? Я дал ему понять, что он волен поступить по своему усмотрению. Б. сказал, что даже красивая женщина не стоит этой штуки (он имел в виду дружбу?) и вопреки обычным понятиям, из-за доброго отношения ко мне, хотел бы оставить все по-прежнему.

Я без колебаний поверил в искренность его слов, поступок его меня восхитил, признательность моя была безмерна.

Первое время я не замечал перемен. Мы с Н. поженились. Б. пришел с букетом цветов на нашу скромную свадьбу, пришел с какой-то не известной нам девушкой; тост его был остроумен и проникновенен.

В тот год мы окончили институты, все вместе отпраздновали это событие. Потом появился Егорка. Б. посещал нас часто, каждый раз знакомя с новыми девицами, что давало нам с Н. повод подтрунивать над ним. Дольше других держалась Лариса У., удивительно неинтересная и глупая женщина.

Дела мои, недавнего студента, складывались более чем удачно. Меня назначили старшим инженером, руководителем группы, отметили в приказе. И тут до меня стали докатываться слухи, будто я пустоцвет как инженер, выскочка и т. д. Я не обратил бы внимания, если бы услужливые люди не сообщили, что они исходят якобы от Б. Поверить подобной чепухе я не мог, тем более что Б. разрабатывал в диссертации мою идею, подаренную ему не так давно. Я видел ее перспективность и собирался заняться сам. Б. был от нее в восторге, называл меня «гением» и выпросил ее. Я отдал без колебаний, в надежные руки. Когда его затирало, он звал меня на подмогу, мы вместе искали продолжение, сидели допоздна и рассчитывали.

И все же злые языки делают свое дело. Как-то раз я спросил Б. напрямик о неприятных для меня разговорах. Он не удивился, не возмутился, а стал допытываться, кто и что мне сказал, уверяя, что это недоразумение, его не так поняли, речь шла не обо мне и проч. Мне стало отвратительно дотошное разбирательство, выискивание несущественных мелочей, и я сам же поспешил оставить эту тему. Для меня было важно одно: разговоры – не выдумка.

После защиты диссертации с Б. произошла метаморфоза. У него появился шутиливо-снискходительный тон мэтра, при каждом удобном случае он по-дружески, но с оттенком превосходства старался поучать меня, как жить, чем заниматься, с кем поддерживать отношения. Я понял: он...

Писать становится трудно. Мысли рассеиваются. О чем я?.. Да, понял я, что он стремительно строит себе карьеру, любит себя и меняет круг знакомств. К этому времени он женился на разведенной профессорше, бездетной и старше его на шесть лет, с которой у нас с Н. не нашлось ничего общего. С исчезновением искренности отношений исчезло желание видеть друг друга. Мы встречались все реже, большие визиты вежливости, чем по велению души, говорили прежде всего о делах и меньше о личном. Он был все так же обаятелен – и это каждый раз подкупало – и говорлив. Но, стоило нам разойтись, оказывалось, что вспомнить не о чем. Пустота.

А потом вся эта некрасивая – не хочу другого слова – история с моей диссертацией... Не могу вспоминать, противно... Мне бы не подавать ему руки, но он каждый раз встречал меня

с такой радостной улыбкой, так жал руку и хлопал по плечу, что я отказывался верить в двуличие, мелочность и мстительность Б. Хотя Н. не раз говорила: «Берегись Б., он нехороший человек – честолюбивый и завистливый себялюбец».

Последний раз я пришел к нему, когда умирал Егорка. Пришел в отчаянии, как нищий с протянутой рукой, к единственному все же близкому человеку. О гибели Н. он не знал. Ег. – одни косточки – ослаб и не вставал: понос. Он тихо звал мать и все время просил что-нибудь поесть. Это была моя боль. У меня все разрывалось внутри от его тоненького угасающего голоса и собственного бессилия. Б. был последней моей надеждой: все-таки пост его, наверное, давал ему что-нибудь, к тому же он один – жена в эвакуации.

Он слушал мое бессвязное бормотание, вздыхал, качал головой. И понес всякие бодренькие словеса – крепиться, держаться, быть мужчиной, будто я без него не знал. Помощь мне была нужна, на худой конец – сочувствие, а не пустые слова. Лучшие молчание.

Помочь Егорушке он не смог ничем. Сокрушался, произнес тысячу извинений – по всем правилам приличия – за пустоту в доме. Я собрался было уходить, и вдруг мне показалось, что на письменном столе за бумагами какая-то горка, прикрытая газетой. Нечто сыпучее – крупа, мука, сахарный песок? Вздор, конечно.

Меня мучают галлюцинации – все чувства срабатывают на еду. То просыпаюсь от стука разрубаемого мяса, то не могу отвязаться от назойливого запаха куриного бульона. Недавно шли с Д. мимо развалин дома, и вдруг я полез на кирпичи: я совершенно ясно видел валявшиеся полбатона – с рубчиками на корке, не отрезанные, а обломанные полбатона. Чужь, откуда могли взяться батонь? Какую-то тряпку принял за хлеб...

Все-таки я попросил у Б. воды. Когда он вышел в кухню, я запустил руку под газету. Как ошпарило: рис!! Взял щепотку в карман. Чтобы не обвинить себя после в галлюцинациях.

Я не испытывал ненависти к Б. Пожалуй, нет ее и сейчас. Невероятно, но тогда я почувствовал неловкость оттого, что уличил его во лжи и что ему могло быть передо мной стыдно.

Ушел оглушенный, теребя в кармане этот несчастный десяток зернышек. Дома рассматривал их как следует: добротный рис.

Правда, Егорке уже ничто все равно не помогло бы. Он умер на следующий день.

Не слишком ли много о Б.? Бог с ним...

Есть вещи, которые один человек не простит другому никогда, хотя по законам морали его поступок нельзя считать тяжким. Не простит потому, что оценки поступков воспитаны в человеке всей его собственной жизнью, его представлениями о ней, а одинаковых жизней не бывает. То, что одному кажется чудовищным и непрощаемым, другой может простить с легкостью.

Совсем зарос я в своей пещере. Взял тряпку, провел по столу и бросил эту бессмыслицу. На что стали похожи наши светелки! Все в копоти, в пыли, кругом развал; на потолке в углах сверкает иней, из окон свищет. Бедная Наденька, великая ценительница домашнего

очага, уют, пришла бы в ужас. Оказывается, надо не так уж много времени, чтобы пустить все прахом. Каких-нибудь полгода.

Фантастически далеким кажется то время, за полугодовым барьером. Другой век, другая эпоха. Да и было ли оно? А если было, то я ли жил тогда?

К нам приходят гости. Сюда. Закрываю глаза и открываю. Они сейчас вместо театрального занавеса. Тьма исчезает – яркий свет. Горят все лампы. Тепло, все сверкает, из кухни текут умопомрачительные запахи пирогов, жаркого, свежих огурцов... На столе коньячок, графины с водочкой, салаты. В прихожей гудит Ч., что-то рассказывает; раскатисто смеется Б. Я завожусь патефон, выхожу к ним. Н. в любимом мной крепдешиновом платье, раскрасневшаяся, стройненькая, ножки точеные, хлопочет у стола, бежит в кухню. Приходит Т., а С., как всегда, опаздывают: задерживают дети.

Наконец все в сборе, садимся за стол, наполняем рюмки. Н. успевает шепнуть с мольбой в голосе, чтобы я не пил слишком много. Она постоянно на страже моего здоровья. Я, разумеется, даю слово, но не сдерживаюсь, и на следующий день приходится приложить немало усилий, чтобы Н. улыбнулась и начала разговаривать со мной. Но пока все хорошо, Ч. сразу завладевает вниманием каким-нибудь занимательным и смешным случаем. С ним всегда происходит что-то необычное. И он умеет подать его в наилучшем свете. Потом начинается общая болтовня, и Ч. подбрасывает кость: например, сознает ли человек, что в каких-то случаях он поступает подло? Волен ли он препятствовать этому? Или человеческая природа сильнее его желаний? С. замечает, что не видит предмета спора: конечно, сознает! Подлец совершает подлость, зная, что делает, но сам себе так ее не назовет, слишком уж мерзостно это слово. И будет бешено сопротивляться, если кто-нибудь скажет об этом прямо. Знает, конечно, знает! Если бы люди не знали, что поступают подло, не было бы подсиживания, карьеризма, подметных писем... «Ну вот, очевидное упрощенчество, – качает головой Ч., и усы его топорщатся от несогласия, – позвольте, у меня есть другое мнение на этот счет...» Я принимаю сторону С., но с оговорками, Б. с ним не согласен совсем, и баталия началась!

Сколько за историю выпито в спорах и мечтах о совершенстве себе подобных! А к совершенству люди не торопятся. Возможно ли оно? И нужно ли? «Скучно будет жить, если все станут совершенными» (мысль Б.). «А поножовщина – весело?» (реплика С.). «Если бы была возможность, интересно проследить, какие пороки отмирают или уже исчезли, а какие оказались живучими и процветают. И может быть, появились новые, которых, например, древние греки не знали» (мысль Т.).

Глаза его. Вот что вызывает какое-то неясное чувство смятения. Проснулся сегодня ночью оттого, что увидел их перед собой в темноте. Объяснить не могу, в чем дело. Глаза как глаза. Впрочем, кажется, улавливаю: они – часть другого лица; они должны принадлежать человеку угрюмому, с неподвижным лицом. У него же лицо живое.

Всякое несоответствие настораживает и пугает. (Бенедиктов переписал эту фразу себе в блокнот.)

Но сказать о нем плохо не могу. Малость зануден и назойлив. Зачастил ко мне, отказать ему приходится я не в силах. Удивительно: мне тяжело и противно одиночество, но и приятно.

Он тоже одинок, погибла вся семья, сам израненный, и, видимо, его влечет к такому же бедолаге. А иногда приходит в голову, будто ему что-то нужно от меня, чего-то он недоговаривает. Мне многое сейчас чудится, себя не узнаю.

На следующий день после нашего мимолетного знакомства он неожиданно появился у меня. Подняться на костылях на пятый этаж – не халам-балам, как говорил Ч. Но еще больше поразило (и тронуло!), когда он вытащил из кармана бутылку спирта и банку доведенных крабов! С куском дуранды в придачу. Славное сочетание – крабы с дурандой! Все было кстати: я совсем раскис после потери Н. и Е. А тут ожил. Человек он общительный и неунывающий. Сыплет анекдоты сомнительного юмора.

Себе могу признаться, что устаю от него, разные мы люди, строй мыслей разный.

Опухают ноги. Слабость, клонит ко сну. Сегодня утром выпал еще один зуб, соседние шатаются. Если так пойдет дальше, скоро буду шамкать, как столетний старец. Что меня ждет?

Прочь черные мысли!! («Костыли. Неясность и беспокойство, – записал Бенедиктов. – Обратить особое внимание на стр. 38–39».)

Вспоминаю август. Уже война. Лето. Тепло, зелень. Только что вернулся с окопов. Радость встречи с Н. Город изменился. Окна в бумажных крестах. В скверах, дворах – щели. Отряды ополченцев. Идет эвакуация, а народ прибывает. Беженцы. В коммерческих магазинах очереди. На улицах столы с книгами. Сколько вдруг появилось прекрасных книг!

Поехали с Н. и Ег. к памятнику Кирову. Там на площади трофеи – «Юнкерс», бронемашина, танкетка. Черные, с крестами, пахнущие бензином и маслом. И прекрасные пробоины. Толпы любопытствующих. Егорка прыгает на одной ножке, едим мороженое. «Папа, зачем люди воюют? – спросил он. – Ведь это больно». На окопах навидался всякого, а тут – уверенное спокойствие. Воздушные тревоги, как учеба: тревога – и скоро отбой. Самолеты где-то там, далеко, к Ленинграду не подпустят. Н. сказала: ...»

«Что она сказала, мы не узнаем, – подумал Бенедиктов, закрыв тетрадку, встал. – Не узнаем...»

Когда Жуков впервые назвал фамилию Лукинского, Бенедиктов усомнился в самоубийстве, но, приученный к выдержке, даже не намекнул об этом Жукову и Калинову. И потом, несмотря на заключение врачей, сомнение не покидало его. Тетрадь, открывшая Лукинского с совершенно иной стороны, все-таки не прояснила то, что больше всего интересовало Бенедиктова: мог ли он, надломленный и растерявшийся, по собственной воле расстаться с жизнью?

И да, и нет...

Склонив крупную голову, Бенедиктов ходил по комнате от стены до стены – руки за спиной, брови насуплены. Что делал у него инвалид? О чем они говорили, кроме анекдотов? Не означает ли фраза «Разные мы люди, строй мыслей разный» попытки склонить Лукинского к чему-то? Если допустить, что ракетницу принес инвалид, то связана ли смерть Лукинского с сигналами из его окна? Разве не мог этот человек, узнав, что Лукинский мертв, проникнуть в квартиру и воспользоваться ее удобным расположением? Или они были сообщниками? Наконец, инвалид мог убрать Лукинского по каким-то соображениям. Каким?

Вдруг у Бенедиктова брови поползли к переносице; кинулся к столу, выхватил листки, исписанные аккуратным, с завитушками почерком Жукова. Вот:

«...кроме них я видела у парадной дома номер один инвалида Великой Отечественной войны. Больше добавить ничего не имею. Юрышева».

4. Мать и дочь

Свернув за угол, Бенедиктов прошел шагов полтора в утопающей в неубранном снегу улице, отыскал парадную в старом, дореволюционной еще постройки доме, поднялся по скользкой лестнице на третий этаж. Постучал.

Долго никто не открывал. Дверь приоткрылась довольно неожиданно – Бенедиктов не слышал шагов. Перед ним стояла девочка лет восьми-девяти в зеленой шерстяной кофте, надетой поверх пальто, страшно худая, бледная, с голубыми удивленными глазами и грязными разводами на лице. Должно быть, незадолго до его прихода она плакала: на ресницах блестели капельки.

– Вам кого надо? – спросила она, отступив на шаг.

Бенедиктов, не ожидавший увидеть ребенка, спросил, живет ли здесь гражданка Юрышева, и шагнул в прихожую.

– Мама, к тебе пришли! – слабенько крикнула девочка, не двигаясь с места и с любопытством разглядывая его.

– Кто там? – послышался глухой голос из ближайшей слева комнаты.

– Какой-то дяденька, моряк...

Из комнаты донеслись шевеление, вздохи, зашкрипели половицы – наверное, женщина лежала и теперь, готовясь выйти, одевалась.

– У вас хлебушка нет? – тихо спросила девочка, в глазах ее затеплилась надежда.

Бенедиктову стало не по себе. С нахлынувшим чувством жалости и одновременно нежности к этому голодному ребенку он нагнулся и погладил девочку по жиденьким, спутавшимся волосам.

– Нет, моя дорогая, у меня ничего нет, – проговорил он как только мог мягко, досадую и стыдясь своей беспомощности.

Разочарованная, она увернулась от его ласки и, втянув мерзнувшие руки в длинные рукава кофты, встала возле двери.

Тяжело ступая, вошла мать. Лет тридцати, тоже голубоглазая, с нездорово полным лицом, она одной рукой оперлась на косяк, другой придерживала у шеи черный платок. Опухшие ноги были с трудом втиснуты в валенки с разрезанными вдоль голенищами.

– Что же вы тут стоите, проходите, – сказала она, кивком приглашая в комнату.

Бенедиктов вынул свое удостоверение, сказав, что хотел бы с ней поговорить. Она повертела его и, не рассматривая, вернула.

– Да ладно, чужие не придут.

Как всякую женщину, ее больше беспокоил беспорядок в комнате. Она освободила часть стола, заваленного мелочами, переставила на комод миску с коричневой вонючей жижей, сняла тряпки с жесткого кресла, предложила Бенедиктову сесть, сама села на диван.

– Вы давно здесь живете? – спросил он, чтобы завязать разговор.

– Да я здесь родилась, – подернула плечами Юрышева. – Раньше вся квартира была наша – три комнаты. Потом старики мои умерли, нас уплотнили, въехали соседи. А сейчас мы с Валюшей снова одни. Живем... Хотела сказать «хлеб жуем», но хлеба... – вздохнула, усмехнулась горько: – Да и жевать нечем. Но ничего, не сдаемся. Правда, Валюша? – Она обняла девочку, приклонившую голову ей на плечо. – Мы часто с ней думаем: вот разобьют наши фашистов, Гитлера проклятого повесят, папка с фронта вернется – и заживем, как бывало...

Бенедиктов представил ее молодой, в семье – проворная, домовитая, словоохотливая... Сколько таких гнезд поразрушала война!

– Это ваш муж? – показал он на фотографию над диваном: светловолосый парень в рубашке, вышитой крестом (наверняка работа жены!), смотрел открыто и уверенно, даже заносчиво, как бы наслаждаясь своей силой и уверенностью.

Она кивнула, и тут губы ее дрогнули, скривились.

– Два месяца ничего от него не получаю. Написал в октябре и – как в воду... Конечно, письмам сквозь блокаду трудно пройти...

Она искала у него сочувствия и подтверждения своим догадкам, Бенедиктов не стал разрушать их, наоборот, придумал тут же схожий случай, будто бы произошедший с одной его знакомой, – тоже долго не получала писем от мужа, а они где-то лежали, копились, потом ей вручили целую пачку.

Юрышева посветлела лицом, Бенедиктов, продолжая, незаметно подвел разговор к интересовавшим его событиям.

– Стрелял на днях изверг. – В голосе ее появилась жесткость. – Предатель. Совсем где-то возле наших домов запускал. Раньше я в дружине состояла, так мы – женщины да мальчишки – поймали одного в сентябре, чуть не растерзали подлеца. Но не дали нам!.. А теперь куда уж мне, сил нет и ноги, как бревна. Разве за ним угонишься по лестницам и чердакам! Только злобу в себе набираешь, думаешь: «Попадись мне в руки, стреляльщик, ждать никого не стану, сама задушю».

– На днях – это когда?

– Во вторник. Вечером, поздно уже было, часов семь. Вчера меня милиционер тоже спрашивал об этом.

– Значит, ищут... – Бенедиктов качнулся в кресле, сев поудобнее. – Как получилось, что вы заметили?

– Да ведь как... Случайно. Ходила к знакомому столяру, тут, у собора он живет, клею мне обещал немного столярного. Плетусь обратно, и – воздушная тревога. Пришлось пережидать в парадной. Вдруг вижу: бах, бах – ракеты... Совсем рядом, я даже подумала: не из нашего ли дома? И самолет уже воет. Все, думаю, сейчас разбомбит.

– Так все-таки из вашего дома стреляли?

– Не знаю, по-моему, вон из того, – махнула она рукой в сторону дома напротив, где жил Лукинский, – или из соседнего... Поди, Валюша, поиграй, – заметив, что дочь заскучала, сказала она и взяла с дивана старую, без платья, тряпочную куклу с болтающимися ногами. Девочка прижала ее к груди, что-то зашептала на ухо матери. – Ладно, потом, иди поиграй, дай нам поговорить. – И, отстранив ее от себя, повернулась к Бенедиктову: – Скучно ей, не знаю, чем и занять. Все есть, есть просит. Кабы играла с кем, легче было бы, про еду реже вспоминала бы.

Бенедиктов склонил голову в знак согласия, спросил:

– После отбоя вы сразу домой пошли?

– Куда же еще?.. Страху я там в парадной натерпелась: крохотуля-то моя в бомбоубежище. Не одна, люди там, но все равно без матери. Случись что, разделяться нам нельзя, только вместе...

– Видели кого-нибудь около того дома, когда шли?

– Мало... Женщину встретила с холщовой сумкой за спиной.

Пришлось выслушать про женщину, потом узнал, что с набережной свернула на улицу другая, расспросил и про нее.

– И больше никого?

– Да, раненый еще какой-то из парадной вышел.

– Раненый? – Голос Бенедиктова упал до безразличия. – Почему раненый?

– На костылях он был. И вроде бы пальцы на руке перевязаны.

– А-а... Без ноги, что ли?

Она прикоснулась ладонью ко лбу, закрыла глаза, припоминая.

– Нет, обе были... Волочил он больную ногу.

– На двух костылях или на одном?

– На двух, на двух...

Каждое слово прилипало к мозгу, и отодрать их уже было невозможно. Бенедиктов поднял глаза на собеседницу:

– Вы сказали, что он вышел из парадной. Я правильно понял? Или он уже стоял у парадной, когда вы шли?

– Вышел. Дверь на пружине, и он сначала выставил костыль, а потом пролез сам, дверь его подтолкнула в спину.

– И он сразу пошел? В какую сторону?

– Не сразу. Постоял, закурил. Еще искру высекал, – Юрышева невольно черкнула костяшками согнутых пальцев, – и пошел в сторону Большого.

– Ага, кресало... Лицо его заметили? Молодой, пожилой, с усами, без усов?..

– Нет, где там, в темноте-то. Да я и не смотрела, случайно мимо шла, все думы о Валюшке. Сердце исстрадалось.

– Ну конечно, конечно, – торопливо проговорил Бенедиктов. – Раньше он вам тут не встречался?

Она медленно покачала головой.

– А одет как был? На голове что?

– В пальто... обычное пальто. А что на голове – не посмотрела.

Он спросил еще, но вопросы уже мало что значили, тем более ответы. Потом он искусно свел разговор на пустяки и, извинившись за беспокойство, стал прощаться.

5. Где он живет?

То, что называлось хлебом, начинали выдавать в семь утра. Бенедиктов подошел к булочной на углу Большого проспекта, где мог брать хлеб Лукинский, незадолго до открытия.

Еще издали он увидел в темноте реденькую толпу, облепившую вход. Женщины в ватниках, в платках, туго затянутых на поясице, противясь стуже и ветру, не стояли на месте – пританцовывали, постукивали ногой о ногу, но не удалялись далеко от дверей. Мужчин было немного, и никто не опирался на костыли.

Бенедиктов выбрал место под аркой в доме напротив – не самое удобное и на ветру, зато оно позволяло, не привлекая к себе внимания, видеть каждого, кто подходил к булочной.

Вскоре стукнула дверь, мелькнул слабый, колеблющийся огонек внутри, и толпа, быстро разредившись в цепочку, почти целиком исчезла.

Где-то далеко шелкал из динамика метроном, отсчитывая секунды, минуты, часы... Хвост у магазина то увеличивался, то сокращался, потом и вовсе никого не осталось на улице.

Холод проник сквозь шинель, мелкая дрожь начала дробить тело. Собираясь покинуть неуютное убежище, Бенедиктов осмотрел напоследок надоевшую ему улицу и тут совершенно неожиданно для себя услышал за спиной тихий размеренный стук. Стук костылей – ничего другого быть не могло. Бенедиктов напрягся, задержал дыхание, соображая, как поступить.

– Товарищ капитан-лейтенант, махорочкой не богаты? – Голос простуженный, немолодой.

Бенедиктов обернулся, словно выведенный из глубокой задумчивости. Мужчина в драповом пальто и матерчатой рваной ушанке с торчащей из дыр ватой висел на костылях – плечи вздернуты, голова опущена.

– Махорочкой?.. Гм-м... Найдется. – Бенедиктов охотно закинул полу шинели, полез в карман брюк; лицо его выражало приветливое простодушие. – Особо раненому братишке. Раз такое обращение – «капитан-лейтенант», стало быть, свой, флотский?

– Это точно... – Зажав под мышкой костыли, инвалид снял рукавицы, запустил грубые пальцы в кисет.

Бенедиктов не курил, но махорку держал при себе, и она не раз выручала его в самых непредвиденных обстоятельствах. Свернул самокрутку сам, похлопал по карманам.

– А, чч-черт побери, кажется, спички забыл...

– Не беда, у меня есть.

Он приладил к белому камешку сплетенный из ниток жгут, сильно ударил по камню железной пластинкой. Щурясь от едкого дыма горелой тряпки, Бенедиктов сумел разглядеть худое, с впалыми щеками лицо в морщинах, желвачок на лбу справа, над самой бровью, нос крупный, широкий.

– Где служил-то?

– На «Октябрьской революции», старшиной команды трюмных машинистов. – Послюнявив пальцы, инвалид придавил покрасневшийся на ветру трут. – Там и накрылся.

– Ба, на «Октябрьской революции»! – оживился Бенедиктов. – У меня там друг закадычный, капитан третьего ранга Чухнин. Знал такого?

– Чего-то не припоминаю. Да я на линкоре недолго пробыл, перед самой... – вдруг закашлялся, по-лошадиному кивая, – перед самой войной перевели с «Кирова»... Ну, спасибо, капитан-лейтенант, а то со вчерашнего утра не куривши. Думал, подохну... Пойду за пайкой, пока не заперли.

Скрючившись, он осторожно переставил костыль на промерзлую, скользкую землю, едва прикоснулся больной ногой и, подпрыгнув, ступил здоровой. Бенедиктов выплюнул окурок.

Светало. Казалось, кто-то незаметно вливал в густую темень свет, перемешивал и разбавлял ее. Снег представлялся уже не черным, а синим, проявились кирпичи стен с квадратиками изразцов, дверь булочной оказалась коричневой, обрели объемность дома, сугробы. Поприутих ветер.

Бенедиктов быстро пересек улицу, скосив глаза на магазин, замер возле уцелевшей стены разбомбленного особняка.

Вскоре появился инвалид. К удивлению Бенедиктова, он заковылял не к подворотне, где они только что повстречались, а к проспекту. «Куда же это ты пошел, а? Посмотрим, посмотрим», – думал Бенедиктов, двигаясь за ним по противоположной стороне Большого, к Гавани.

Проспект был широк, настолько широк, что Бенедиктов обострившимся зрением едва различал темное подрагивающее пятнышко – голову и плечи, – мучительно медленно плывущее за кучами снега.

А когда оно пропало, он все же не заметил. Бенедиктов ругнулся и, пригибаясь, увязая в снегу, перебрался к большому серому дому. Никого... Ворота наглухо заперты, завалены снегом... А вот и выдавленные кружочки. Они вели в парадное, оказавшееся проходным. Дверь со двора была распахнута настежь. Бенедиктов с облегчением вздохнул: в глубине узкого дворового садика хромал человек на костылях...

У заднего крыльца четырехэтажного флигеля он долго лающе кашлял, прижав руку к груди, потом осмотрелся и исчез внутри.

Выждав с минуту, Бенедиктов последовал за ним, прислушался. Наверху, на третьем или четвертом этаже, хлопнула дверь, и все стихло. Тогда он неслышно выбрался обратно во двор, скользнул глазами по крышам. Одно слуховое окно его особенно заинтересовало, и он поспешил к соседнему дому.

Чердак продувался насквозь, но чердачный запах так и не выветрился. После улицы здесь казалось темно – пришлось достать фонарь. Возле кирпичной трубы стояла ржавая бочка с песком. Из песка косо торчал стабилизатор «зажигалки». И рядом с брошенной лопатой валялись недогоревшие, как сигары, огрызки маленьких бомб..

Перелезая через пыльные стропила, Бенедиктов устремился к присмотренному им окну и чуть не споткнулся обо что-то. Бросил под ноги луч света, невольно отпрянул, увидев окоченевший труп женщины. Женщина лежала ничком, раскинув ноги и сжимая в белевшем кулачке длинные щипцы; развязавшийся платок на голове еле заметно колыхал ветер...

Бенедиктов обошел труп и, взобравшись под крышу, примостился у полукруглого окошка. Отсюда была видна часть кирпичного, без штукатурки, флигеля, крыльцо, где скрылся инвалид; не весь, но просматривался и двор. Почерневшие, с поломанными рамами окна, забитые где фанерой, где железом, заткнутые тряпьем, подушками или вовсе пустые, не позволяли видеть происходящее внутри и казались безжизненными. Бенедиктов попытался уловить хоть какой-нибудь шорох, но тщетно: тишина стояла устрашающая.

И вдруг густой, липкий гул вырвался откуда-то, заложил уши, нарастая, и отозвался громом в другой стороне. Качнулась земля, вздрогнули стены. Бенедиктов выругался про себя расхожим русским словом, прижимаясь бессознательно к стене. Гул не стихал, он как бы пульсировал; с ним слышался другой, такой же мощный и тяжелый, – ударили в ответ корабли с Невы. Теперь стены дрожали не переставая, один раз что-то рассыпалось по крыше. Бенедиктов посмотрел вверх и только сейчас заметил, что крыша вся в мелких дырах, как звездное небо, а в глубине чердака зияет огромная брешь. Невольно перевел взгляд на женщину и покачал головой.

Стрельба прекратилась неожиданно, как и началась. За время обстрела из дома никто не выходил. От неудобного положения у Бенедиктова затекли и стали мерзнуть руки и ноги. Ветер с колючей снежной пылью резал лицо. «Что он там делает так долго? – думал Бенедиктов, растирая перчаткой щеки и нос. – Или здесь его дом? Тогда откуда он шел спозаранок?»

Прошел еще томительный час и еще... Если бы Бенедиктов не осмотрел флигель, удивившись в отсутствии черного хода, можно было предположить, что инвалид ушел. Нет, он был тут. Терпение, только терпение. Бенедиктов заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, хорошем, восстановить в памяти, например, какой-нибудь случай, когда ухаживал за Тасей... Не получалось – холод глушил все. И хотелось есть. Это давно уже ставшее обычным чувство обострилось, напоминая о былом времени обеда. Бенедиктов знал, что скоро оно пройдет, сменится слабостью и повлечет за собой сонливость. Заснуть же он боялся больше всего.

Было совсем темно, когда дверь приоткрылась и инвалид боком пролез в щель. Его никто не провожал. Промерзший до костей Бенедиктов скатился на засыпанный гарью пол и, разминая на ходу онемевшие руки, побежал к выходу.

Теперь незачем было переходить на другую сторону, – темнота укрывала его. Отпустив инвалида шагов на пятьдесят, насколько позволял глаз, Бенедиктов тащился за ним по знакомому пути, пока не дошел до той самой подворотни. Во втором дворе инвалид вошел в дом. Бенедиктов прикинул, что жить он мог либо в восьмидесят шестой, либо в семидесятой квартире, но на всякий случай запомнил все номера на лестнице.

В жакте, сыром и холодном подвале, пропахшем копотью, он застал дворничиху и девушку из МПВО. Облокотясь на старый канцелярский стол с грязной пустой чернильницей, девушка называла дворничихе какие-то квартиры и загибала пальцы перед самым ее носом, та согласно кивала.

– Как бы повидать вашу паспортистку? – спросил Бенедиктов. Девушка через плечо кинула на него взгляд и отвернулась.

– Паспортистку?... А никак. – Дворничиха поерзала на крутящемся табурете. – Нет у нас паспортистки, убило нашу Галочку на прошлой неделе бонбой. Пошла домой, может, еще и спать не улеглась, и налет... Бонба аккурат в самый ихний дом угодила. Одни черепки... Ах ты господи, фашист проклятуший, душегуб...

– И кто же теперь?

Дворничиха пожала острыми плечами, закатила маленькие глазки.

– Поди знай кто... Сама Клава, наверно.

– Кто это – Клава? Управдом? Где ее найти?

– Дома, где же еще, час-то уже поздний. Она тут недалеко живет, на Двадцатой линии, дом одиннадцать, квартира тоже одиннадцать.

Петракова – так дворничиха назвала фамилию управдома Клавы – за порог его не пустила. Она лишь приоткрыла дверь на цепочке и спросила настороженным шепотом: «Кто?» Бенедиктов едва устоял на ногах от потекшего на лестницу вместе с теплом сладкого, головокругоного запаха печеного теста. Это было так неожиданно и так невероятно, что он, глотнув слюну, отступил на шаг.

– Энкавэдэ, – ответил он, испытывая безотчетное чувство неприязни к женщине, и направил свет фонаря на свою красную книжечку. – Нужно посмотреть домовые книги, быстро.

Испуганно пробормотав: «Обождите минутку, я сейчас», она поспешно захлопнула дверь и заперла на крюк.

По дороге Петракова начинала что-то говорить, но Бенедиктов хмуро отмалчивался. Проклятый запах горячего печева не давал ему покоя, и он думал о том, как бы поскорее добраться до жакта.

– Вот, Егоровна, какого я мужчину привела, – сказала, входя, Петракова съездившейся в углу и, казалось, дремавшей дворничихе.

Та хихикнула:

– Ах, Клава, Клава... О хлебце бы думала...

Девушки из МПВО уже не было. Бенедиктов заметил, что Петракова недурна собой – это открытие безотчетно еще более усилило неприязнь к ней.

Она достала из сейфа четыре толстые потрепанные книги с загнутыми и засаленными углами. Бенедиктов сел за стол.

– Вот здесь отмечены выбывшие, – сказала она из-за спины, налегая на него грудью, – и проставлено число. Можете не сомневаться, у нас все в полном порядке.

– Разберусь, разберусь, – Бенедиктов резким движением расправил спину; ему показалось, что он уловил запах вина, – не в первый раз... – И принялся выписывать ненужные ему фамилии, делая вид, будто внимательно просматривает все квартиры.

В семидесятой мужчин не оказалось, в восемьдесят шестой жил монтажник. И в других квартирах по той лестнице списанные с флота военнослужащие не значились. «Вот так компот! – обескураженно подумал Бенедиктов, перевертывая страницу. – Выходит, инвалид прописан в другом месте, если он вообще прописан. У кого же он живет?...»

6. Сослуживцы

На следующий день Яков Владимирович Дембо, командир части, высокий (под два метра), худой, с тонкой шеей контр-адмирал, зашел в клетушку Бенедиктова. Тот поднялся из-за стола, шагнул навстречу, тряхнул протянутую руку.

– Вы, кажется, заходили ко мне и изъявляли желание видеть, не так ли? К сожалению, я был занят... Что-нибудь срочное?

Бенедиктов сел рядом с контр-адмиралом, сказал про смерть Лукинского.

– Очень прискорбно, очень, – проговорил Дембо, вытаскивая платок и сморкаясь. – Это был превосходнейший инженер, как говорят в таких случаях, инженер Божьей милостью. И человек, кажется, хороший... Но сейчас столько смертей кругом...

– Вы знаете, что он покончил с собой?

– Да что вы говорите? Этого я не знал... Что же произошло?

– Застрелился... Что вы можете сказать по этому поводу?

Лицо контр-адмирала показалось обиженным.

– Дружок мой, я не гадалка. Предполагать может каждый, в том числе и вы, при небольшой доле воображения, но знать, я думаю, мог только он сам. И потом... – Дембо откинул узкие сухие ладони, – если бы это случилось до войны, тут был бы предмет... Я знаю, что он потерял семью. Одиночество, житейские невзгоды, неважное самочувствие... Не каждый выдерживает такие испытания.

– Мне кажется, вас все же удивило, что это самоубийство. Или я ошибся? – склонив голову набок, спросил Бенедиктов.

Дембо беззвучно засмеялся:

– Проницательность – ваша работа... Признаться откровенно, да, удивило. Попробую сказать почему. Наверное, потому, что я был не подготовлен...

– Иными словами, его образ действий в последние дни не давал повода к такому печальному концу?

– Пожалуй, именно так... Но, повторяю, человеческая психика – тайна, может быть, самая глубокая из всего, что нас окружает... Случается всякое. Тем более в нынешних условиях. Состояние депрессии, резкий переход от одного эмоционального состояния к другому... А Лукинский был эмоциональным человеком... Но я не психолог, вероятно, надо поговорить с ними.

– А неприятностей служебного порядка у него не было в последние дни? Скажем, приказа или какого-нибудь крупного разговора?

– Нет. О таковом мне неизвестно.

Дембо вынул из брючного кармана серебряные часы, посмотрел на отдалении и поднялся.

– Одну минуту, Яков Владимирович, – сказал Бенедиктов торопливо, – я вас долго не задержу. Скажите, чем занимался Лукинский?

– Евгений Викторович? Тем же, чем и все мы: ремонтом боевых кораблей.

– Но, может быть, у него было какое-нибудь особое, специальное задание?

– У Ленинграда сейчас одна-единственная цель – выстоять! – сухо сказал контр-адмирал, засовывая руки в карманы полушубка. – Все мобилизовано для ее достижения. Распылять силы нельзя – это было бы преступлением перед страной... А тем, что вы подразумеваете, занимаются тылы, и, надо думать, успешно.

– Тогда что это может означать? – Бенедиктов вынул из сейфа блокнотные листки с расчетами Лукинского.

Контр-адмирал повертел их, достал очки и, рассматривая, медленно опустился на стул.

– Хм, интересно... Весьма и весьма... – Посмотрел на выжидающего Бенедиктова серыми глазами: – Ну-с, это мне гораздо ближе, чем психология. Тут можно и поразмышлять... Простите за нескромный вопрос, вы сами по профессии не инженер?

Бенедиктов покачал головой отрицательно:

– Я окончил политическое училище, военно-морское.

– Понятно, понятно... По долгу службы вам, наверно, известно, что до формирования нашей части Евгений Викторович работал в конструкторском бюро. Я знаю это кабэ, оно сейчас в эвакуации. Вам также должно быть известно и другое – что наука вплотную подошла к открытию. Величайшему, я сказал бы, эпохальному открытию. Его можно ожидать со дня на день. Я имею в виду расщепление атома, получение нового вида энергии. – Оживился, помахал листочками, предвкушая нечто приятное. – Представьте флот, движимый не каким-нибудь мазутом или соляром, а принципиально новым топливом. Фан-та-сти-ческим топливом! И все, что следует за этим, тоже для нас пока фантастика. Появляется заманчивая возможность на подводных лодках в качестве главных двигателей использовать паровые турбины. Мощность же такой турбины огромна, она многократно превышает ту, которую мы имеем сейчас. Нетрудно догадаться, что соответственно возрастают скорости, особенно важно – подводные скорости лодок. Но это еще не все выгоды. – Дембо зажмурился мечтательно, потом улыбнулся и стал загибать пальцы: – Расщепление атома абсолютно не требует кислорода, значит, нет выхлопа – дыма, гари, копоти. По той же причине лодка может обойтись вообще без атмосферы и ходить в дальние походы, не всплывая на поверхность. Наконец, исчезают громоздкие цистерны для хранения топлива на время плавания. Отсюда – совсем иные размеры лодок и более мощное вооружение... Вот что это такое! – Помолчал, покачивая ногой. – Скажу вам откровенно как инженер: дело, которым мы сейчас заняты, довольно простое, для талантливого человека, привыкшего творить, малоинтересное. Все равно если бы портной экстра-класса, модельер, диктовавший моду, вынужден был ставить заплатки на рваные брюки. Но весь фокус, дружок мой, в том, что творец всегда творец. Он будет думать, искать – больной, голодный, переживающий личную драму... Человеческую мысль, особенно творца, нельзя заставить биться с девяти до шести с перерывом на обед или замкнуть в сейф на ночь. Вы поняли меня? Евгений Викторович был именно таким... Как инженер-механик по турбинам он здесь выполнял свою работу, и, надо сказать, со всей ответственностью... Ну а в остальное время, по-видимому, мечтал с карандашом в руках. Будущее – всегда мечта, таинственная загадка... Я неточно выразился – мечтал. Он разрабатывал мечту, овеществлял ее. На этих листках я вижу расчеты расхода пара и мощностей турбин для атомной подводной лодки. Вдумайтесь: атомной!.. Призрачная фантастика придвинулась к человеку, он хочет уже поковыряться в ней, как в автомобиле... – Дембо встал, застегнул полушубок. – Сожалею, у меня нет возможности пересчитывать, но я вижу ход мысли. Блистательный ход... Блистательный!..

Он сунул листки Бенедиктову и, пригيبая голову под притолокой, хотя в этом не было надобности, вышел не простившись.

Капитан третьего ранга Елсуков оказался нелегким собеседником. Полтора часа говорил с ним Бенедиктов, но ни на один вопрос Елсуков, в сущности, не ответил. Говорил он быстро и много, помогая руками; в потоке слов фразы составлялись так ловко, что наиболее важное для Бенедиктова дробилось, расползалось и окончательный ответ можно было толковать двояко. «Ну и говорун», – раздраженно подумал Бенедиктов, глядя на не перестававшего улыбаться Елсукова и стараясь не замечать назойливо выставленные напоказ крупные желтые зубы.

– Вы бывали у Лукинского дома? – спросил он, не выдавая своего раздражения.

Елсуков поиграл пальцами, как бы пытаясь понять, какой ответ желает услышать оперуполномоченный. Лицо Бенедиктова было непроницаемо.

– Видите ли, у нас сложились такие отношения, при которых интеллигентные люди, если они действительно интеллигентны...

– Феликс Леонидович, я вас спрашиваю не об отношениях, а о том, бывали ли вы у него дома. Не уходите в сторону, отвечайте конкретно.

– По-моему, я говорю очень конкретно, – еще сильнее заулыбался Елсуков, наклоняясь к Бенедиктову. – При таких отношениях люди, как правило...

– Так да или нет?

– Мне известно, где он жил... Однажды мне пришлось зайти к нему за справочником, Лукинский простудился и не ходил в часть, но я задержался у него всего на несколько минут, даже не заходил в комнату, так что считайте как угодно – был или не был...

– Когда это произошло?

– Не помню, совершенно не помню... У меня пресквернейшая память, особенно на даты. Можете себе представить: я даже не помню дня рождения жены, которую очень люблю, хотя она аккуратно каждый год мне о нем напоминает. Курьезно, но теперь даже она поняла, что это бесполезно, и тем не менее я...

– Но приблизительно-то вы можете сказать, когда это было? Осенью? Зимой?

– Затрудняюсь вам ответить. Давно, давно, очень давно.

– Не до войны же, – усмехнулся Бенедиктов. – До или после того момента, когда вы приглашали Лукинского жить к себе?

Глаза Елсукова расширились от изумления. В первый раз он запнулся.

– Простите, не понял... О каком приглашении...

– Забыли? – мягко, не осуждающе проговорил Бенедиктов. – Вспомните-ка...

Елсуков засмеялся тихо, хлопнул себя по темени:

– Да, да, да, да, да... Ну конечно, вспомнил, был такой случай, был. Ах, какая память, просто не знаю, что делать. Вспомнил. Приглашал...

– Но почему Лукинского? Вы говорили, что у вас никогда не было с ним близких отношений, даже более того – они были холодными.

– Видите ли, когда жизнь хватает за горло, то есть, простите, я не так выразился, когда появились некоторые житейские трудности, многие собираются вместе для облегчения существования. Мы подумали с женой, что могли бы с кем-нибудь соединиться. У нас самих, по теперешним понятиям, большая семья – я, жена, шурин-инвалид, а Лукинский остался один, и мы проявили этот акт человеколюбия исключительно из сострадания к нему. Исключительно!..

– Итак, – напомнил Бенедиктов, – вы заходили к Лукинскому до или после приглашения?

– Это было раньше.

– Кто же вам передал справочник? Он сам, жена или сын?

– Лично сам Лукинский: жена его к тому времени уже умерла.

– Ага, понимаю... Кто-нибудь находился у него, когда вы пришли?

– Он был один. Совершенно один – жалкий, потерянный, в каком-то старом пальто без пуговиц...

– А что с вашим шурином?

Елсуков снова растянул рот, но в потускневших глазах появилось мученическое страдание.

– Тяжелейшая контузия... Врачи говорят – останется с костылями надолго, может быть, даже и на всю жизнь. Вы не представляете, какой это был юноша – спортсмен, веселый, остроумный... Я познакомился с ним, когда он был еще мальчиком, – я тогда ухаживал за его сестрой, теперешней моей женой. Помню, прибежит из школы, щеки – как яблоки, глаза горят, и – с порога: «Раечка! (Это сестру, мать у них почти не занималась ни хозяйством, ни воспитанием.) Раечка, «отлично» по алгебре, можно я пойду с ребятами в кино?» А она: «Нет, Сережа,

сначала поешь куриный бульон с булочкой, сделай уроки, а уж потом можешь идти». И – ни упрека, ни капризов... Это такой удар для всех нас...

Бенедиктов сочувственно кивал, едва успевая вникнуть в смысл нагромождаемых слов, и, когда Елсуков набирал воздух, чтобы продолжить, спросил:

– Насколько я осведомлен, Феликс Леонидович, ваша специальность – паровые турбины и вы работали у Лукинского в отделе. Не делился ли он с вами или при вас своими мыслями относительно развития техники, не говорил ли, чем занимается дома?

– Нет, нет, нет, что вы! Никаких посторонних разговоров, – замахал руками Елсуков, – никаких, только о текущих делах... – Пригнулся и шепотом: – Если бы вы поработали у него, увидели бы, как с ним было трудно... Дотошный, требовал все время пересчитывать, переделывать, даже когда было не так уж важно...

«Наверно, с тобой действительно было трудно работать», – подумал Бенедиктов, потирая виски кончиками пальцев, и отпустил Елсукова, который перед дверью обернулся и еще раз осветил его улыбкой.

– Инженер Макарычев, с вашего позволения. – Голос прозвучал с порога излишне громко.

– Жду вас, заходите, – приветливо откликнулся Бенедиктов.

Макарычев энергично пододвинул стул, чтобы удобнее видеть капитан-лейтенанта, не сел – плюхнулся. Движения его были свободны, естественны – ни страха, ни угодливости, ни жеманства, появлявшихся в собеседниках, что не раз отмечал Бенедиктов, стоило им попасть в его восьмиметровый кабинет с решетчатым окошком. Инженер был коренаст, широколиц, седые волосы лежали хаотично, на макушке торчал хохолок.

– Вы давно и, должно быть, хорошо знали Лукинского, – начал Бенедиктов; Макарычев повернул голову, нацелив на него ухо с приложенной ладонью. – Какое у вас сложилось впечатление о последних днях его жизни? Не говорил ли он вам, что его беспокоит?

– Вы правы, знал я его давно, но утверждать, что знал хорошо, не берусь, одно с другим не всегда совпадает, вы со мной согласны? – посмотрел весело на Бенедиктова, требуя подтверждения. – Мы примерно с ним одного возраста – я на два-три года постарше, – но получилось так, что я уже имел солидный стаж, работая в кабэ, – я ведь был студентом еще до революции, – а Женя пришел к нам прямо со студенческой скамьи где-то в конце двадцатых годов. Вот тогда-то я с ним и познакомился и сразу обратил внимание на его незаурядные способности. Правда, вскоре я ушел из кабэ на преподавательскую работу. Ну, а началась война – оба мы оказались здесь как старые знакомые... Что сказать о его последних днях? Утрата жены и сына Женю надломила, хоть сейчас люди как-то иначе относятся к смерти вообще, да и к смерти близких. У него появилось, мне кажется, безразличие к жизни, он стал невнимателен к себе, рассеян...

– Какие-нибудь новые знакомства у него были в последнее время? Он не говорил?

– Ну какие сейчас могут быть новые знакомства! Не до этого... Сохранить бы те, которые есть... Во всяком случае, мне лично он не говорил.

– А не замечали ли вы чего-нибудь необычного, странного в его жизни, в поведении, в отношении к нему людей?

– Странного, необычного?.. Нет, нет... – тряхнул хохолком Макарычев. – Вообще Женя был человеком непростым. Он мог под горячую руку обругать, подковырнуть сослуживца, причем зло, обидно и, может быть, даже беспричинно. Но отходил быстро, чувствовал себя виноватым, извинялся... Это был человек дела. Дело, дело... Прежде всего дело. Терпеть не мог болтовни, трескотни, словоблудия. А такой подход к жизни не всем нравится. Так что не уверен, что все без исключения любили и восхищались им.

Переместившись на стуле, Бенедиктов сказал:

– Все это интересно... Скажите, а с кем Лукинский общался? Каких-нибудь подозрительных людей, с вашей точки зрения, вокруг него не обреталось?

Макарычев приложил кулак ко рту, призадумался, глядя на Бенедиктова.

– Что значит «подозрительные люди»? Нет... Впрочем... Впрочем, хотите я расскажу вам об одном эпизоде, но скорее, так сказать, анекдотического порядка. Так, мелочь, о которой, может быть, и вспоминать не стоит, но раз уж вы спросили... Произошло это года три назад, летом. Не помню, по какому поводу Женя пригласил меня и нескольких наших сотрудников кабэ в «Универсаль». То ли он отмечал день своего рождения, то ли получил какую-то награду, не помню, суть не в этом. В ресторане были и другие приглашенные. И вот среди них я увидел человека, поразительно похожего на ротмистра Нащекина, пристава Коломенской полицейской части (у Бенедиктова собралась кожа на лбу; Макарычев показал два ряда золотых зубов). Забавно, да? Не удивляйтесь, сейчас поясню...

Макарычев рассказал, что второкурсником – он учился в Технологическом в пятнадцатом-шестнадцатом годах – он был среди студентов, группировавшихся вокруг социал-демократов, просиживал вечера за спорами в марксистском кружке и выполнял мелкие разовые поручения подпольного большевистского комитета в районе.

Последнюю зиму перед революцией столица жила особенно беспокойно. Студенчество митинговало, размахивая кумачовыми флагами; устраивали сходки, выходили на демонстрации... Чувствовалось горячее дыхание революции. (Макарычев порозовел, возбудился от воспоминаний. «Спросите меня: а когда учились? Не отвечу. А ведь все-таки учились, черт возьми!»)

В декабре после митинга у Калинкина моста полиция переловила студентов и – в часть. Несколько дней держали в душных, забитых до отказа людьми камерах, вызывали на допросы по одному – искали зачинщиков и смутьянов.

– Меня допрашивал сам ротмистр. Забыть Нащекина я уже не смогу никогда, потому что в его части я потерял зубы, – Макарычев провел рукой перед растянутым ртом, – и сорок процентов слуха. Он и сейчас передо мной – холодный, расчетливый истязатель, с большими холерными руками, которые знали куда бить и как бить... И лицо у него характерное: тонкий-тонкий нос, прямо пластинка, близко сведенные к переносице черные пронзительные глаза...

– Так кто же был на банкете у Лукинского, неужели он? – с недоверием спросил Бенедиктов.

Макарычев хлопнул себя по колену:

– Никоим образом!.. Нащекин там быть не мог, ибо он расстрелян в тридцатом году.

– Откуда вы знаете?

– Из газет... Это был громкий процесс, «Красная газета» публиковала тогда подробный отчет. Оказалось, Нащекин тихо пережил революцию, сменил фамилию, внешность и занялся какими-то аферами. Его разоблачили, судили и расстреляли. Можете представить мое удовлетворение: порок наказан! Я даже написал тогда в редакцию.

– У вас, случайно, не сохранился номер газеты? Принесите мне, если не затруднит вас, – сказал Бенедиктов, поглаживая затылок, и пробормотал: – Действительно занятная история...

– Что вы?.. – морщась, Макарычев поднес ладонь к уху.

– Следовательно, вы предполагаете, что это был...

– Его сын! – вскинул плечи Макарычев. – А кто же еще? Такое поразительное сходство...

– А у него был сын?

– Вот уж, извините, чего не знаю, того не знаю, – с сарказмом проговорил Макарычев. – Не имел чести быть знакомым с господином Нащекиным и его семейством. Знакомство произошло, как я вам сказал, в каталажке, на том оно и закончилось.

– Вы попытались поговорить с тем человеком? – напрягая голос спросил Бенедиктов.

– Было у меня такое желание, правда, не скажу, чтобы страстное. Но знаете застолье?.. Он сидел на противоположном конце, а тут пошли всякие разговоры за рюмкой. Когда я спохватился, его уже не было.

– С кем-нибудь вы говорили о вашем наблюдении, заявляли куда-нибудь?

– Единственный, с кем я поделился, был Женя. Вы бы видели, как он хохотал! Пролетарий в роли жандармского сына! Оказалось, он чуть ли не с детства знал его, потому и хохотал. Тогда же он рассказал, что у него есть родственник, как две капли воды похожий на Калинина. С ним здоровались на улице, принимая за Михаила Ивановича... Этим Женя окончательно убедил в глупости моей фантазии, и мне не хотелось попадать в нелепое положение. Так что заявлять по сути дела нечего. Я ведь и вам с самого начала сказал, что случай курьезный...

Бенедиктов не стал его разубеждать и спросил:

– А фамилию Лукинский вам называл? Или его имя?

– Не только называл. Он меня с ним знакомил, но фамилия мне ровным счетом ничего не говорила, и она у меня моментально выветрилась из памяти, так же как и имя.

– Еще когда-нибудь вы встречали этого человека? (Макарычев резко тряхнул головой.) Он был военный, гражданский?

– Гражданский.

– Я понял так, что по возрасту он был как бы ровесником Лукинского?

– Совершенно верно, что-нибудь около сорока... Это меня и поразило: он был приблизительно тех же лет, что и Нащекин, каким я его знал!

– Н-да... – произнес Бенедиктов, поглаживая переносицу, и это неопределенное словцо можно было расценить как удовлетворение весьма важным сообщением или, наоборот, как скорбь по потерянному на никчемный разговор времени. – Что-нибудь еще вы можете сказать по поводу знакомств Лукинского?

– Абсолютно ничего.

– Тогда не смею вас задерживать. Спасибо. – Когда Макарычев был у двери, Бенедиктов остановил его: – Между прочим, вспомните на досуге, кто еще присутствовал на том банкете в «Универсале», и сообщите мне. Вам, надеюсь, это будет несложно?..

7. Батальонный комиссар

Батальонный комиссар Дранишников назначил по телефону встречу на двадцать тридцать. Выслушав начальника, Бенедиктов чертыхнулся про себя: выходило, что встреча с Тасей еще откладывается, по крайней мере на сутки. Несмотря на все старания, он уже третий день не имел возможности связаться с женой и у него не было ни малейшего представления о том, что происходило дома. Бог знает что могло случиться за эти два дня! Все равно что за год обычной жизни. Незнание угнетало, злило. И Тася... Могла бы как-нибудь дать знать о себе и своей тетке... Но вдруг не могла?..

Чувствуя весь день недомогание, Бенедиктов вышел пораньше и около семи вечера был на Литейном, совершенно обессилив после долгой ходьбы.

Здесь, в тиши, он развернул потерявшие упругость желтые листы старой газеты, еще раз прочел судебный отчет, просмотрел документы, которые поступили на запросы в последние сутки, и, тщательно подобрав бумаги, сложил в папку. Дранишников болезненно относился к опозданиям, неточностям, неряшливости и при случае делал замечания тихим голосом, без угроз и грубостей, но с какой-то необъяснимой внутренней силой волевого, беспощадно относящегося к себе человека. Замечания выслушивать было больно, гораздо больнее, чем переносить разнос. Изучив начальника, Бенедиктов заранее обдумывал разговор, стараясь не быть застигнутым врасплох даже в мелочах.

Встретил его Дранишников, как обычно, едва заметным наклоном головы и сразу приступил к делам. Его чрезвычайно интересовало все относящееся к Лукинскому, но начал он все же с Нефедова.

Михаил Николаевич Нефедов, имевший еще кличку Боксер, попал в поле зрения Бенедиктова в июле. Тогда капитан-лейтенант узнал об одном разговоре, из которого следовало, что Нефедова вполне устраивал приход немцев. Позже вскрылись любопытные обстоятельства: оказалось, что этот человек, сын судовладельца в Николаеве Церидоса, бежавшего после революции в Турцию, в начале девятнадцатого года командовал летучим отрядом в треугольнике Геленджик – Криница – Черный Аул (после высадки англичан и французов). Отряд вылавливал и добивал раненых, расстреливал отставших от своих частей красноармейцев. Когда Деникин вместе с войсками Антанты был разгромлен, Церидоса схватили, но при пересылке в тюрьму он убил конвойного и исчез...

В Ленинграде он обосновался года за два до войны с документами на имя Нефедова, женился на обрусевшей немке Гертруде Оттовне, устроился на завод, стал стахановцем – портрет его, увитый алой лентой, висел на площадке за проходной. В первый месяц войны он перебрался мастером на только что спешно запущенный завод на взморье, куда прибывали после боев полужатонувшие, потерявшие ход и обезображенные снарядами канонерские лодки, сторожевые корабли, буксиры и разные вспомогательные суда – для ремонта.

Однажды к Бенедиктову, на попечении которого был и этот объект, постучался парнишка – юнга в плохо подогнанной к его щуплому телу робе. Шепотом он сообщил, что неподалеку от пирса в старой цистерне, на девять десятых вкопанной в землю и скрытой всяким хламом, он наткнулся на тайник с оружием. Ночью Бенедиктов незаметно спустился в заброшенную цистерну. Там, в самом конце, лежали в ящике, прикрытые камнями и досками, две винтовки, автомат, три или четыре пистолета, пачки патронов и кинжалы... Бенедиктов оставил все на месте, ни к чему не притронувшись, а через несколько дней в густых сумерках к цистерне крадучись подошел со свертком в руках, как бы по нужде, Устин Кокарев, слесарь того же цеха, где работал Нефедов. Когда Кокарев выбрался наружу, свертка не было... Из личного дела Бенедиктов выяснил, что в прошлом Устин Кокарев трижды отбывал сроки за квартирные кражи. Установил и его тесное знакомство с Нефедовым.

В особом отделе флота решили Нефедова, Кокарева и причастного к ним Фабрина, плановика из заводоуправления, пока не трогать. Важно было узнать их намерения и – самое существенное – с кем они связаны еще. Каждый раз Бенедиктов докладывал Дранишникову обо всем, что ему удавалось выяснить.

– У меня есть сведения, что Нефедов кого-то ждет, – сказал Бенедиктов, с усилием разлепляя веки. – Поэтому теперь он каждый день ходит домой ночевать, на заводе не остается. Кто-то должен прийти из-за линии фронта.

– Прекрасно, значит, связь намечается, как мы и предполагали. – Дранишников посмотрел на освещенное лампой землистое лицо капитан-лейтенанта. – Адресок-то у него какой?

– Малая Подъяческая, семь, восемьдесят восьмая квартира. Визит, по-видимому, имеет какое-то значение, потому что Нефедов сказал: «Хватит выжидать, скоро перейдем к активным действиям...»

– Всеволод Дмитриевич, – Дранишников откинулся на спинку стула, положил на стол кулаки, – глаз с него не спускать. Будьте готовы к любой провокации, вы за него в ответе. (Бенедиктов хотел попросить людей, но Дранишников словно прочитал его мысли.) И справляйтесь своими силами. Откуда оружие в тайнике, выяснили?

– С прибывающих на ремонт судов – оружие убитых и тяжелораненых.

– Надо перекрыть эту лазейку, напрочь. Навести строжайший учет оружия личного состава.

– Уже перекрыта, – сказал Бенедиктов глухим голосом. Он почувствовал, как кровь устремилась к голове и забилась, зазвенела в сосудах; похолодели и стали мокрыми пальцы, часто забило сердце – не хватало воздуха...

– Надеюсь, вы сделали это аккуратно? Все должно выглядеть вполне естественно и не вызывать подозрений об обнаружении тайника. Сейчас особенно важно не спугнуть...

Последние слова Дранишникова сошли на нет, как звуки постепенно выключаемого приемника, и сам батальонный комиссар вдруг отдалился в непонятной дымке и пропал... Потом Бенедиктову почудилось какое-то движение, суэта, мелькнуло что-то белое и запахи – резкие, напоминающие что-то запахи...

Дранишников сидел за столом, писал. Сквозь подрагивающие ресницы Бенедиктов увидел его сосредоточенное лицо, свежее, чисто выбритое, – тонкие губы поджаты, чуть навывкате глаза под широкими бровями опущены... Почему светло? Почему здесь батальонный комиссар? Что произошло? Вспомнил слова Дранишникова о важности не спугнуть. Кого? Нефедова? Конечно, Нефедова. И – обрыв... Неужели обморок, черт побери? Стало жарко, будто бросили в ванну с горячей водой.

Сдержанность в общении с людьми, замкнутость, внутренняя сила Дранишникова вызывали у Бенедиктова не только уважение, но и трепет. Меньше всего ему хотелось выглядеть смешным, неумелым, немогущим перед батальонным комиссаром, и вот тебе раз... Именно при нем... «Слабак, тухля, как барышня...» – ругал себя Бенедиктов, сомкнув веки и желая, чтобы Дранишников вышел из кабинета хотя бы на несколько минут, – встреча на ногах, в застегнутом кителе, казалось ему, могла бы в какой-то мере сгладить конфуз. Но Дранишников не собирался выходить. Бенедиктов пошевелился.

– Лежите, лежите, – сказал батальонный комиссар, не поднимая головы и продолжая писать. – Вам требуются покой и отдых.

Бенедиктов встал с дивана, покосился на стул – на нем валялись пустая ампула с отбитой головкой и высохший, сдавленный чьими-то пальцами комок ваты.

– Товарищ батальонный комиссар, я совершенно здоров, – все еще чувствуя неловкость, твердо проговорил он.

Отложив перо, Дранишников поднялся, сказал не то с упреком, не то с сожалением:

– Вы не соизмеряете свои силы, Всеволод Дмитриевич. – Выложил два куска пиленого сахара: – Вам лично. Съешьте при мне, считайте, что лекарство... Кстати, я хотел вас спросить: как вы распоряжаетесь своим довольствием? – Заметив вспыхнувшее лицо Бенедиктова, не дал ответить: – Вы вправе сказать, что не мое дело. Справедливо. Не мое... Сейчас, – Дранишников подчеркнул голосом, – это дело государственное. Вопрос поставлен круто: быть или не быть Ленинграду, и не только Ленинграду. Армия обязана оставаться боеспособной, что бы ни происходило. Постановка вопроса, сознаю, жестока, но иного выхода нет... Надеюсь, вы не обиделись на мои слова? Поверьте, произносить их тоже нелегко.

Дранишников раскурил трубку, но тут же пригасил, придавливая махорку большим пальцем; Бенедиктов, задетый словами батальонного комиссара, промолчал.

– Я не успел вчера сказать, – начал он спокойно, – что, по тем же сведениям, Гертруда, жена Нефедова, на днях посетила свою старую знакомую по имени Марта. Фамилию и где она проживает пока установить не удалось. Цель ее визита тоже неясна.

– Это особый и весьма серьезный вопрос, – сказал Дранишников. – Мы к нему вернемся отдельно, а сейчас давайте о Лукинском.

Бенедиктов детально изложил все, что ему стало известно за минувшие двое суток, не утаил неудачу с инвалидом. Она была тем более неприятна, что, по наведенным справкам, Бенедиктов дополнительно установил: в течение трех последних лет никто из старшин команды трюмных машинистов с «Кирова» на «Октябрьскую революцию» не переводился, а с «Октябрьской революции» списан не был. Дранишников молча слушал; выпуклые глаза его были столь выразительны, что Бенедиктов чувствовал по ним, как по стрелке прибора, с чем батальонный комиссар согласен, в чем сомневается или расходится в оценке.

– Экспертиза полностью подтвердила убеждение, которое возникло у меня с самого начала: Лукинский убит, – подытожил Бенедиктов. – Анализ его дневниковых записей и другие данные позволяют утверждать его полную непричастность к любому виду пособничества врагу. Он – жертва, а не соучастник. Полагаю, что убийство совершено с целью добыть расчеты Лукинского паровых турбин для атомных подводных лодок. Расчеты убийцы перефотографировал – экспертиза установила: серые крупинки – не что иное, как остатки сгоревшего магния. Лукинский фотографией не занимался, аппаратуры для съемок в квартире я не нашел. Теперь о ракетах. Очевидно, они принесены и после выстрелов сознательно оставлены в квартире убийцей. В данном случае они играют отвлекающую роль с целью запутать следствие и бросить тень на Лукинского. Если придерживаться этой версии, то пистолет также находился у убийцы. Номер «ТТ» оказался стертым, но все же удалось его восстановить – 938611. А вот справка начальника склада боепитания воинской части 0837.

Бенедиктов подвинул синий листок с жирной, прошедшей насквозь печатью. Дранишников пробежал глазами нацарапанные наспех строчки:

«Пистолет «ТТ» номер 938611 закреплен за старшим лейтенантом Вахрамеевым В. Т., выбывшим из части 26 ноября 1941 г. в госпиталь...»

– Таким образом, появляется возможность проследить путь оружия к убийце...

– Шансов тут немного, – проговорил Дранишников, потирая лоб, – прошел почти месяц. Но не использовать эту возможность было бы неразумно. Заметьте немаловажную деталь: номер стерт. Если оружие проходит множество рук, то маскировка его не так уж важна. Поэтому в данном случае путь «ТТ» может быть довольно коротким... – Вынул план города и, отстранив бумаги, разложил перед собой. – Хочу обратить ваше внимание: ракетные гильзы, обнаруженные на старом катере у Двенадцатой линии, возле Горного института и в квартире Лукинского, – колпачком ручки обвел места, – одного производства – завода в Фрейбурге.

– Значит, убийца инженера и сигнальщик – либо тот же самый человек, либо одна группа...

– Вот то-то и оно... И район... Очень их интересует этот район... Ракетчика надо брать живым. Это первоочередная задача. Как ваши комсомольцы, можно на них рассчитывать?

– Вполне. Ребята отобраны надежные. Сил, правда, у них маловато, зато боевые.

– С инвалидом вы поторопились и, главное, – рисковали. Обстановка не требовала риска, вы же начали преследование, совершенно не имея представления, кто этот человек. Известные нам теперь факты дают более реальную возможность предположить, что именно он является разыскиваемым нами лицом. В таком случае, представляете, если бы он обнаружил вашу заинтересованность в нем? Могло рухнуть все.

– Я был уверен, что он сразу вернется домой, а потом не решился упустить его, – попытался оправдаться Бенедиктов, понимая, насколько слабо звучит это оправдание.

Дранишников дважды замечания не повторял, оправдания не слушал. Он выколотил трубку и отложил ее.

– Пока несомненно одно: убийца Лукинского, предположим инвалид, – орудие, исполнитель, – сказал он. – Важно выяснить, кто мог знать о расчетах Лукинского. Это должен быть человек, связанный с ним по работе, бывавший у него дома и сведущий в такого рода технике. Вы расшифровали инициалы в дневниковых записях?

– Все. Нас, разумеется, не будут интересовать умершие Сыромятниковы и Чеборчук, эвакуированный в Свердловск в августе. Сейчас в Ленинграде находятся: Богачев Борис Владимирович, военинженер третьего ранга в контрольно-приемном аппарате, – тот, с которым Лукинский дружил в молодости и потом разошелся, и Турков Юрий Федорович, инженер, – «стеснительный до болезненности молчун». Упоминающиеся в дневнике «Д.» – Дембо Яков Владимирович и «Елс.» – Елсуков Феликс Леонидович не могут входить в число близких Лукинскому людей. Однако на Елсукове я хотел бы остановиться особо. В тридцать девятом году он находился под следствием по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Подозрение не подтвердилось, и он был выпущен на свободу. В своих показаниях он неискренен: у меня есть данные, что Елсуков неоднократно посещал Лукинского на дому, хотя мне сказал, что был только однажды. Интерес представляет и его родственник, брат жены, Сергей Степанович Шулейкин – инвалид второй группы, на костылях. Имя его и отчество совпадают с записанными в дневнике.

– Вряд ли инвалид назвал свое подлинное имя, – покривился Дранишников. – Это элементарно. К тому же Лукинский как следует и не запомнил его.

– Да, конечно, но дело не в этом. Шулейкин не такой уж примерный мальчик, каким нарисовал его Елсуков. Это человек алчный и беспринципный. Перед призывом в армию в том же тридцать девятом году он был замешан в весьма солидной спекулятивной сделке, но сумел избежать ареста...

Бенедиктов заметил, что Дранишников не двигается; уперев локоть о стол и поддерживая голову, он смотрел остановившимися глазами в пространство: какая-то мысль донимала его.

– Что же вы замолчали? Это была группа?

– Из шести человек. Правда, Шулейкин играл второстепенную роль, тем не менее на него был собран достаточный материал. И еще: кроме спорта он занимался в фотографическом кружке при Доме культуры Первой пятилетки, о чем Елсуков не счел нужным сказать.

– А что, Шулейкин выходит на улицу?

– Выходит, выходит... Тут Елсуков тоже сгустил краски: контузия серьезная, но не такая уж безнадежная – врачи довольно оптимистично смотрят на его выздоровление.

– Любопытно, – подумав, проговорил Дранишников. – Не исключено, что эта версия может дать результат. – И вдруг, безо всякого перехода, сказал: – Оставьте у меня дневник

Лукинского и затребуйте, пожалуйста, из суда следственное дело Нащекина. Я хочу с ним познакомиться.

– Я уже пытался, Олег Сергеевич. – Бенедиктов кашлянул в кулак. – К сожалению, самого дела в Ленинграде нет, оно в архиве. Суд прислал лишь выписку из картотеки. Но полагаю, что смогу выяснить о Нащекине все интересующее нас, – следствие вел Калинов, которого я хорошо знаю.

Дранишников что-то пробурчал, недовольный таким вариантом, но из-за безвыходности положения вынужден был дать санкцию на разговор с Калиновым. Затем они перешли к обсуждению действий Гертруды Нефедовой.

8. В госпитале

Бенедиктов добрел до госпиталя на канале Грибоедова к двум часам дня. Как раз незадолго перед тем смолкли тяжелые немецкие дальнебой. К пятиэтажному дому с белым флагом и красным крестом тянулись санки, тележки; кого-то дружинницы несли на руках...

В приемном отделении колыхалась, гудела толпа. Со стиснутыми зубами и стараясь не глядеть на раздробленные кости, лохмотьями свисающие обескровленные куски мяса, Бенедиктов прошел сквозь рыдания, стоны и проклятия. Женщина в стеганой телогрейке вцепилась в него костлявыми пальцами: «Товарищ военный, товарищ военный, да что же это, о господи?! Когда же вы уймете этих иродов проклятых?.. Детоубийцы, мерзавцы!.. Девочка моя, красавица моя, лапонька моя!.. За что-о-о!.. Лучше от голода...» Глаза безумны, волосы всклокочены. Бенедиктов уронил взгляд на носилки, содрогнулся: на них лежала девочка, вместо лица – кровавая каша...

Суетились санитарки, сестры: «В операционную... Скорей... Дорогу!..» Женщина отпустила Бенедиктова, повалилась к носилкам, забилась в истерике...

С гнетущим чувством от увиденного Бенедиктов поднялся на третий этаж. Уполномоченного особого отдела, высокого, рыжевато-старшего лейтенанта Кочемазова он нашел в его каморке под лестницей, служившей, должно быть, в свое время складом школьного имущества (в доме до войны размещалась школа). У Кочемазова болели зубы; слушая Бенедиктова, он поминутно хватался за щеку и вздрагивал.

– Неприятная история, но вполне допустимая, – сказал он; большие зеленые глаза поднялись на Бенедиктова. – Сам понимаешь, какой сейчас учет. Не знаешь, за что хвататься...

– Мне важно установить, когда пропал «ТТ» – до того, как вы приняли Вахрамеева в госпиталь, у вас или уже там, на пересыльном...

– Может быть, и удастся... Я думаю, лучше тебе самому это сделать, а я тебя познакомлю с начальником ОВС. Учти: он будет божиться, что у него все в ажуре, так ты...

– Ладно, не вчера родился, – с улыбкой произнес Бенедиктов и спросил из сострадания к мучившемуся старшему лейтенанту: – Неужели тебе в госпитале зубного врача не найти?

Тот безнадежно махнул рукой:

– Рвать надо, да все времени нет. Пошли...

Бенедиктов накинул халат с болтающимися сзади лямками и последовал за Кочемазовым.

Они поднялись еще на этаж, пропустив на лестнице санитарку с ведром, полным нечистот, прошли насквозь огромную душную палату – остатки шведской стенки показывали, что раньше здесь был физкультурный зал: мужчины в бинтах лежали, сидели на разномастных, собранных у населения кроватях; ходячие стучали в углу костяшками домино; кто-то крутил патефон... На другой лестнице откуда-то потянуло кислым запахом тушеной капусты – у Бенедиктова тоскливо засосало под ложечкой.

– Вон он, – сказал Кочемазов, глазами показывая вверх, откуда слышался зычный, хорошо поставленный командирский голос. – Драит кого-то...

Ведающий обозно-вещевым снабжением (ОВС) капитан оказался маленьким, щуплым, подвижным человеком, любившим, по-видимому, порядок и пытавшимся его навести силой своего голоса. («Откуда только он берется в таком теле?» – подумал с усмешкой Бенедиктов.) Заметив Кочемазова, капитан тотчас отпустил сестру-хозяйку с пылающими от нагоня щекми; лицо его из свирепого мгновенно превратилось в добродушное. Кочемазов представил Бенедиктова, объяснил, кто он, что хотел бы посмотреть, и оставил их.

Капитан тактично не задавал вопросов. Он растянул рот в улыбке, словно проверка доставляла ему удовольствие, и без промедления начал действовать: приказал принести книгу

учета, накладные, разыскать кладовщицу склада боепитания. Пока они двигались к складу, он успел рассказать о системе – по его словам, хорошо продуманной – регистрации и хранения оружия от приемного отделения до сдачи по мере накопления на пересылный пункт.

– Наша хранительница огня, – кивнул капитан на подошедшую робкую, испуганную срочным вызовом женщину.

– Покажите-ка ваш арсенал, – приветливо сказал Бенедиктов, от которого не ускользнули ее сжатые в напряжении кулачки и подрагивающие губы, – не утаивайте.

– Она у нас прекрасно справляется... Бывают дни, когда десятками приходится таскать это оружие с этажа на этаж... Представляете, какая тяжесть!.. С нынешними-то силами! Она и таскает, и чистит, и смазывает не хуже заправского бойца. Правда? – Капитан подмигнул кладовщице. – И все, как говорится, у нее в полном ажуре. (Бенедиктов улыбнулся, вспомнив слова Кочемазова.) Да вы сами сейчас убедитесь...

Кладовщица сняла железную скобу с обитой стальными листами двери и, впустив обоих, встала в сторонке, наблюдая за действиями Бенедиктова. Склад пропах оружейным маслом. «Хорошо, отлично», – повторял Бенедиктов, довольно поверхностно осматривая пистолеты, «наганы», гранаты, разложенные на стеллажах, стоящие в козлах винтовки и автоматы. Всем своим поведением он старался показать, что проверка – лишь формальность, правда, необходимая.

Он перебрал накладные, полистал регистрационную книгу учета. В ней торопливо, разными почерками, часто карандашом были внесены фамилии, звания, воинские части, номера оружия, даты... Делая вид, что он без особого внимания проглядывает записи, Бенедиктов успел выхватить то, что искал, и захлопнул книгу. Повторил бодренькое «хорошо», сделал замечание по поводу какого-то пустякового недосмотра и спросил, переводя взгляд с капитана на кладовщицу:

– Значит, если бы появилась необходимость срочно найти личное оружие, ну, скажем... – он провел пальцем под первой попавшейся фамилией, назвал ее, дату поступления, – я мог бы это сделать благодаря записям?

– Несомненно, – воскликнул капитан громовым голосом и скомандовал, как фокусник в цирке своему ассистенту: – Найдите, быстро!..

Кладовщица молча сняла со стеллажа «наган» и протянула его Бенедиктову.

– У меня вопросов больше нет, – весело сказал он, сверив номер. – Если бы везде так хранили... – Пожал руку сияющему капитану, потом слабо улыбнувшейся кладовщице. – Так и запишем: с вами все в порядке. Теперь пойду в другой госпиталь... Служба!

Вернувшись к Кочемазову, он прикрыл за собой дверь и сказал тихо:

– А пистолетик-то исчез у вас. В книге имеется запись, на пересылный пункт не сдан. Лейтенант Вахрамеев умер. Выходит, где-то здесь...

– Придется искать, – невнятно проговорил Кочемазов, не отнимая ладони от подбородка.

– Поинтересуйся, пожалуйста, в чьи руки он мог попасть. Это очень важно. И позвони мне.

Кочемазов покивал, страдальчески глядя на Бенедиктова. Бенедиктов оставил свои номера телефонов, записал номер пропавшего «ТТ», время, когда приблизительно он мог быть похищен, и, пожелав старшему лейтенанту скорее вытащить зуб, покинул госпиталь.

9. «Старшина команды трюмных машинистов»

Она стояла на углу переулочка Подбельского, сжимая под мышкой сумочку, маленькая, нахохлившаяся в своей заячьей шубейке, и, видимо, ждала его со стороны бульвара Профсоюз.

– Тася, – окликнул ее негромко Бенедиктов.

– О, я думала, ты опять не придешь, – сказала она, обернувшись, и взяла его под руку. – Какое это мучение – ждать.

Иной возможности поддерживать относительно регулярную связь, кроме таких вот встреч здесь, в заранее обусловленном месте, у них не было. Они договорились встречаться каждый день в пять часов и ждать друг друга в течение десяти минут. Если Бенедиктов оказывался к этому времени поблизости, он провожал жену домой, узнавал по пути не слишком обильные житейские новости, иногда успевал даже кое-чем помочь в доме. Очень редко удавалось остаться на ночь. Тася работала на почтамте, случалось, что и она не успевала к назначенному сроку, поэтому виделись они не так уж часто.

– Прости, никак не мог выбраться эти дни. – Бенедиктов прижал ее руку к себе. – Как ты себя чувствуешь?

– Не очень... Слабость. И есть хочу. Не проходит минуты, чтобы я не хотела есть. Наваждение какое-то. Кажется, съела бы гадюку, крысу, помой, падаль, что угодно... Ты принес мне что-нибудь?

Бенедиктов достал кусочек хлеба, сбереженного для нее. Она проглотила его, почти не жуя.

– И все?

– К сожалению, все... Мне один знакомый обещал достать немного овса.

– Это хорошо. Я сварю кисель... А у нас опять потеря: тетя Маша умерла... Когда он обещал тебе овес? Только ты сразу его принеси, как только он даст, не забудь...

Бенедиктова удивила смерть любимой Тасиной тетки, бывшей до последних дней на ногах, но еще больше – та скороговорка, которой Тася сообщила ему о смерти.

Тетя Маша была для Таси не столько теткой, сколько матерью. После смерти Варвары Константиновны, Тасиной матери, от сыпняка, когда девочке было три с половиной года, ее взяли к себе Маша и Вера, сестры отца. Отец вернулся позднее с колчаковского фронта калек и протянул недолго. Воспитание Таси скромные женщины посчитали назначением своей жизни. Они общивали ее сами, без претензий, но со вкусом, чтобы их «звездочка» не испытывала неудобств среди сверстниц и не считала себя обойденной, самоотверженно учили ее языкам и музыке у частных преподавателей (школ еще не было)... Жизнь их протекала в напряженном сведении концов с концами (Маша работала экскурсоводом в Петропавловской крепости, Вера – бухгалтером в банке), размеренно, в полном согласии и со стороны, может быть, скучновато. Но женщины сжились и не считали возможным менять ее. Даже когда к Вере стал наведываться веселый, шумный железнодорожник-ревизор, насквозь пропахший пивом и табаком. Железнодорожник вскорости предложил ей выйти за него замуж. Вера, посоветовавшись с сестрой, решила, что мужчина внесет сумятицу в их устоявшийся быт, и отказала ему. Но, может быть, тому были и другие причины. Во всяком случае, до Бенедиктова мужчины в их доме больше не появлялись... Тася любила обеих теток, но ближе все-таки была ей тетя Маша, неунывающая веселушка и фантазерка... Тетя Вера умерла в ноябре, накануне праздника, пролежав неделю и медленно угасая. И вот теперь тетя Маша...

– Когда это случилось? – спросил Бенедиктов после долгого молчания.

– В ночь на позавчера. Легла спать и не проснулась.

– Как же ты теперь будешь одна?.. Знаешь что: я поговорю с Мельниковым, он возьмет тебя на завод, перейдешь на казарменное...

– Ты считаешь, так будет лучше? Надо подумать.

– А чего думать-то?.. Все-таки среди людей... Карточка рабочая. И ко мне поближе. А сейчас... Видишь, какой я у тебя непутевый, толку от меня...

– Да, пожалуй!.. Ты можешь идти помедленнее? (Бенедиктов сдержал шаг, заметив, что Тася тяжело дышит.) Но не торопись с Мельниковым, я должна решить сама. А я что-то разучилась быстро принимать решения – так же, как и ходить.

Завыли сирены, вздымая до бесконечности свой ноющий стон. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!..» – послышался голос из репродуктора.

– Господи, когда же это кончится!.. – устало проговорила Тася, не отпуская от себя Бенедиктова.

Ускорили шаг прохожие, появились женщины с противогазами на боку, улицы опустели. Вслед за Тасей Бенедиктов спустился в бомбоубежище. Там уже было несколько человек. Разговаривали вполголоса, как в вагоне остановившегося поезда. Тася прислонилась к стене, ткнулась в грудь Бенедиктову. Он провел пальцами по ее осунувшемуся лицу, погладил волосы, тоненькую шею.

– Сева, ты больше меня знаешь. Скажи, что будет... Я так беспокоюсь за тебя, и вообще...

– Все будет хорошо, выстоим, считай, что самое тяжелое позади, – успокоил он ее, беспрдельно веря в то, что говорит, и вселяя в нее эту уверенность.

Она вздохнула и облегченно прошептала:

– Если бы ты был все время со мной рядом!.. Какая простенькая, но недоступная мечта!

– Все-таки звони мне, если нам не удастся встретиться. Я должен знать о твоём самочувствии. Мне передадут...

– Это почти невозможно. У нас неприятная начальница, ее всю передергивает, когда звонят по личным делам. А телефон один и все время занят.

– Тогда буду звонить я, – решительно сказал Бенедиктов. – Пусть попробует отказать.

– Не надо, это неудобно...

Они вышли на улицу после отбоя, когда начало темнеть. Из других подворотен тоже стали выходить люди. Вдруг глаз Бенедиктова нащупал согнутую фигуру человека, опирающегося на костыли... Очень знакомая фигура...

– Тасенька, я вынужден тебя покинуть, – сказал он поспешно.

– Но ты ведь хотел...

– Не могу, дорогая моя, не могу, извини, до завтра... Ты иди потихоньку, целую тебя. – И, круто повернув, зашагал в противоположную сторону.

Он не ошибся. Это был тот самый инвалид. Медленно переставляя костыли, он разговаривал с какой-то женщиной. Когда они разошлись, Бенедиктов настиг его.

– Предъявите ваши документы, пожалуйста.

– Зачем? – Инвалид поднял голову, узнал Бенедиктова: – А, капитан-лейтенант?.. Мы вроде недавно с вами встречались, еще табачком меня угощали, помните? На Васильевском...

– Документы, – властно повторил Бенедиктов и, не желая вступать в пререкания, показал свое удостоверение.

Инвалид достал потертый паспорт, стянутый поперек резинкой. «Грызин Александр Степанович, год рождения 1902, русский, место рождения...» – читал Бенедиктов при свете своего фонарика, присматривая в то же время за инвалидом. Тот проявлял признаки беспокойства, нетерпения, поминутно сплевывал и демонстративно тяжело вздыхал.

– Почему вы здесь ходите?

– А где мне еще ходить? – Грызин потянулся за паспортом, но Бенедиктов его не отдал.

– Вы же прописаны на Пороховых. Что вы здесь делаете?

– Прописан... Мало ли что... Там прописан, а живу здесь.

– Это нарушение паспортного режима. Где вы живете?

– На Васильевском... На Семнадцатой линии... У друга своего.

– Придется вам пройти со мной, – сказал как бы с сожалением Бенедиктов, пряча паспорт и фонарь.

– Да вы что?.. Не пойду я никуда. – Грызин поднял костыль и затряс им в воздухе: – Я инвалид второй группы, меня никто не имеет права трогать. Документы есть? Есть. В порядке? В порядке. Я за Родину пострадал, а вы...

– Тихо, не шуметь, – приказал Бенедиктов. – Прошу...

Грызин ругался всю дорогу, но у Бенедиктова было ощущение, что он сильно встревожен и ругань – лишь прикрытие его состояния.

В райотделе НКВД, оставив инвалида на попечение дежурного, Бенедиктов зашел к начальнику, немолодому, с массивным подбородком майору, кратко обрисовал ситуацию и обратился с просьбой допросить задержанного в какой-нибудь свободной комнате. Тот охотно разрешил.

Открыв ключом чей-то давно не топлённый кабинет, Бенедиктов зажег свечу на пустом, с одним лишь телефоном, столе, покрытом пыльным стеклом, под которым лежали календарь и какие-то выцветшие бумажки.

– Присаживайтесь, Александр Степанович.

Грызин снял шапку, расстегнул пальто; за сбившимся шарфом проглядывала тельняшка.

Теперь Бенедиктов мог без спешки рассмотреть инвалида. При первой встрече, в подвояротно, он показался значительно старше, дряхлее. На самом деле это был довольно крепкий мужчина с сильными руками и развитой грудью. Бинтов на пальцах не было, и следов ранения или экземы не ощущалось. Драповое пальто не новое, но вполне приличное. Бенедиктов обратил внимание, что под мышками оно не протерлось. Покалеченная нога, обернутая тряпками и с подвязанной к ступне галошей, сгибалась – по-видимому, ранение относилось к нижней части.

Наводили на размышления пометки в паспорте, и Бенедиктову предстояло разобраться в многочисленных штампах и штампиках с нечеткими литерами и расплывшимися чернилами. По ним выходило, что в армии Грызин никогда не служил, и одно это обстоятельство уже представляло интерес для Бенедиктова.

– Вы когда-нибудь теряли свой паспорт? – помахал он засаленной книжкой и наблюдая за выражением лица Грызина. – Предупреждаю сразу: за дачу ложных показаний вы будете привлекаться по законам военного времени.

– Понял. Расстреляете, что ли?.. – Грызин освоился, осмелел, в голосе прозвучала насмешка.

– Расстрелять не расстреляем, а неприятности будут. Отвечайте.

– Не терял я паспорт. Зачем терять? Как выдали в милиции, так и таскаю с собой, даже сплю с ним в обнимку, как с милой. Вон уже и листы поразвалились.

Бенедиктов улыбнулся:

– Как с милой – это хорошо... Милую беречь надо. Военный билет при себе?

– А на кой он мне сдался? Я инвалид. В паспорте записано: невоеннообязанный. Все! Лишний груз... Закурить можно? Теперь я угощаю.

– Курите, я не хочу... Тогда расскажите, когда, где и при каких обстоятельствах вы были ранены.

Грызин прикурил от свечи, после этого ответил:

– В порту, двенадцатого ноября. Поднимали на таях ящик, будь он проклят, полтора центнера, звено в цепи лопнуло, ящик сорвался – и на ногу...

– То есть у вас не ранение, а производственная травма, – уточнил Бенедиктов, все более и более удивляясь. – В каком же госпитале вы лечились и когда были выписаны?

Грызин назвал госпиталь и, матерясь, понес хирургов, которые больше месяца держали его и не смогли правильно срастить кости, и теперь неизвестно, будет ли он нормально ходить. Бенедиктов мат пресек, но выговориться дал.

– Где вы служили до травмы? – как бы между прочим спросил он. – В каких частях?

– Я не служил. У меня белый билет был.

– Вот тебе и раз... А как же с «Кировым» и «Октябрьской революцией»?

– С каким «Кировым»? – уткнул глаза в пол Грызин. – Я не говорил...

– Хм, забыли? Странно. Меня узнали, а что говорили, не помните? Почему?

– Не помню...

– Ну, раз не помните, идите вспоминайте, – сказал Бенедиктов и проводил его в камеру.

Пока Грызин думал, капитан-лейтенант еще раз удостоверился, что паспорт не фальшивый, и сел за телефон проверять показания.

По мере накопления сведений создалась довольно ясная картина: Грызин приехал в Ленинград в тридцать шестом году, не имея специальности. Был чернорабочим, такелажником в торговом порту, матросом на землечерпалке; женился, разошелся, пьянствовал, вследствие этого на одной работе долго не держался. В армию его не призывали из-за весьма редко встречающейся скрытой глаукомы, так что старшиной команды трюмных машинистов на линкоре Грызин быть никак не мог. Следовательно, он лгал тогда. («А почему, собственно, он должен раскрываться первому встречному?» – подумал Бенедиктов. Только сейчас ему пришло в голову, что не придавал значения торопливости Грызина, когда зашла речь о службе на линкоре и он спросил о капитане третьего ранга Чухнине, известнейшей среди моряков на корабле личности. Конечно же, Грызин быстро смекнул, что капитан-лейтенант гораздо лучше знает флот и легко может уличить его во вранье.)

Полученные сведения подтвердили все, что говорил Грызин. Они были важны, но самое существенное заключалось в одном: Грызина выписали из госпиталя тринадцатого декабря, когда Лукинский уже был убит. Остальное Бенедиктова мало интересовало. Разработанная им в уме конструкция развалилась. Расставаться с ней было жаль (столько труда – и никакого результата!), но приходилось. Бенедиктов тут же позвонил Дранишникову и кратко доложил о событиях.

Лунка под фитилем оборвалась, потек стеарин; казенная, с голыми стенами комната озабилась светом. Бенедиктов посидел несколько минут, расслабившись и прикрыв глаза рукой, потом вызвал Грызина, уже дважды просившего через дежурного принять его.

Он втащился тихий, виноватый и, встав посреди комнаты, сказал сипло:

– Хвастанул я тогда, товарищ капитан-лейтенант, – положил растопыренные пальцы на грудь, – прости Христа ради, хвастанул...

– Зачем? – полюбопытствовал Бенедиктов.

– Хрен его знает... Зачем хвастают... Курить очень хотел... А вы так сразу... душевно... Махрой угостили... Свой, братишка... – Слов не хватало, Грызин начал помогать руками, зажав костыли под мышками. – Чтоб не подумали – забулдыга какой...

Бенедиктов не удержался, чтобы не произнести назидательные слова о пагубности лжи, и, дав подписать протокол допроса, отпустил его.

10. О чем рассказал Калинов

– Чем ты так топишь? – спросил Бенедиктов, входя вслед за Калиновым в его жарко натопленный кабинет. – У тебя что, угольная шахта во дворе? Или милиция сломала где-нибудь деревянный небоскреб?

Калинов – он ходил уже без клюки, но чуть прихрамывая – встал посреди комнаты, скрестив руки на груди, и самодовольно улыбнулся:

– Не дровами и не углем. А чем – никогда не догадаешься. Раздевайся.

– И все-таки? – Бенедиктов повесил шинель на колышек, пригладил волосы, гораздо гуще растущие по бокам, нежели на макушке. – Нефтью, что ли? Соломой? Кизяком?

– Не-а, – захохотал Калинов, вертя головой, и в восторге захлопал в ладоши. – Сказал – не догадаешься! Калинов же хитер! Ох и хитер Калинов... Фашисты меня отапливают. Сам фюрер! – И, сделав многозначительную паузу, покосился на Бенедиктова. Остался доволен произведенным впечатлением. Произнес, четко разделяя слова: – Бомбами топлю, немецкими бомбами...

Теперь рассмеялся Бенедиктов мелким смешком, отмахнулся:

– Иди ты... Удивляюсь, как такого трепача держат начальником...

– Напрасно ругаешься. Я вполне серьезно. «Зажигалки» – во топливо! Термит. Надо голову иметь...

– Как бы голова-то как раз и не отлетела. Взорвешься.

– Никак нет. Кафельная печь позволяет, старинная. Я вывинчиваю капсюли, кладу штук десять-двенадцать. Из одной бомбы выкрашиваю термит, поджигаю палочками – и пошла писать губерния! Дня три-четыре держится тепло. А невзорвавшихся «зажигалок» до черта, иногда целыми кассетами... Вот я и дал команду собирать.

– Тебе еще не наклепали по шее за такие дела?

– А за что? – Светлые глаза Калинова округлились. – Да я никому не говорю, тебе вот по старой дружбе, так это не в счет.

– Да-а... – протянул Бенедиктов, сосредоточенно глядя на мраморную чернильницу. – Слушай, Рома, ты, случайно, не знал такого Нашекина?

– Сергея Аполлинариевича?! – удивленно встрепенулся Калинов. – Ротмистра? Бывшего пристава Коломенской полицейской части? Как не знать! Попил он моей кровушки. Но я его выловил, я и расколол. О, умнейший был мужик, умнейший... А ты что вдруг его вспомнил?

– Да так, – неопределенно повертел руками Бенедиктов. – Вспомнил – значит, вспомнил. Ты-то не забыл это дело?

– Что ты, прекрасно помню, в деталях... Как первую любовь. Тогда я только начинал, совсем мальчишка... Но мы лихо сработали. Между прочим, тогда я получил первую благодарность и потерял свою первую любовь. Незадолго влюбился в одну деваху, а тут началось... Назначаю ей свидание и не прихожу. Простила. Назначаю другое – и опять обман... Какие там свидания! Три месяца мотались – день и ночь, день и ночь... – Калинов усмехнулся, хлопнул себя по шее. – Конечно, послала меня подальше... Ну, бог с ней, другую нашел. А дело было чертовски сложное.

– Посвяти, – повелительно сказал Бенедиктов, усаживаясь крепче, – и поподробнее, если можешь.

Калинов снял стекло с лампы, дважды дунул в него, поджег фитиль. Утонувшая было в сумраке комната осветилась неверным светом, качнулись тени. Сел, распластав на столе локти, взглянул куда-то на потолок.

– Ну, слушай... До революции в Политехническом институте работал один эконо́м, почтенный старик. Хозяйство в институте огромное, педантичный старик содержал его в

порядке, но с годами стало ему трудновато. Ему помогал старший дворник, некто Дерюгин. Дерюгин тоже работал в институте давно, эконому всемерно доверял, и во время его отсутствия Дерюгин отпускал из кладовых краску, мел, гвозди – словом, все, что нужно. Ключи у него были все, за исключением одного – от кладовой, в которую эконому входил только сам и никого туда не впускал. А надо тебе сказать, что Дерюгин был продувной бестией. Все, что плохо лежало, он прибирал к рукам и тащил к себе. Жил же он в Парголово, в собственном доме с участком. И вот – революция, Гражданская война... Случилось так, что однажды, когда Дерюгин был в кабинете у эконома, принесли депешу. Старик ее прочел, схватился за сердце и – умер на руках дворника. В телеграмме сообщалось, что сын эконома убит на фронте. Дерюгин и тут не растерялся. Спать ему не давала та кладовая. Он обыскал теплый еще труп и отстегнул заветный ключ. Старика похоронили, Дерюгин стал как бы исполнять его обязанности. Тут же, не мешкая, ночью он полез в кладовую, и... полное недоумение и разочарование. Никаких сказочных сокровищ. Кладовая почти пуста, лишь в углу несколько ящиков с шурупами, мотки проволоки да три-четыре листа железа. С досады все забрал, увез домой. Время ты сам знаешь какое было. Разруха, народ разбегается, есть нечего, контроля никакого. Дерюгин забил свой дом чем только смог, даже кое-какие станки привез, и сам смотался подобра-поздорову. Живет, гвозди меняет на мыло, мыло на сахар, все с прибылью, все с прибылью, приторговывает, разводит поросят, одним словом – жиреет... Вот это, так сказать, экспозиция, пролог.

Калинов, пока говорил, скрутил сигарку, привстал, опершись широкими ладонями о край стола, прикурил от лампы.

– Прошло двенадцать лет. – Обдал Бенедиктова крепкой махрой, сел. – Тридцатый год... Как-то летом, в воскресенье, рано-рано утром – я дежурил – звонят из Озерков, с фабрики спортивного инвентаря «Голиаф»: приезжайте, ограбили. Еду. Фабричка маленькая, полукустарная – два цеха, обнесенные забором. Шьют тапочки, мячи, ну и все такое... В чем дело? Оказывается, получили они подошвенную кожу, семь тюков – ценнейший по тем временам материал. Стали готовить к производству: намочили, пропустили через валки... И вот исчезла, вся! Я тряхнул сторожа. А он ни бе ни ме ни кукареку – в сильном подпитии, спал, наверное, мертвецки, скотина. Посмотрел забор, вижу, в одном месте досочка отходит. Все ясно. Беру нашу Динку, овчарку. Кожа-то пахучая, душистая. Воскресное утро, следы не затоптаны. Динка меня напрямик в Парголово протащила и – к дому Дерюгина. Два его сыночка, оболтусы, спят, как цуцки, пьяные, среди мешков с кожей. Работали они оба на «Голиафе», за два дня до кражи оформили отпуск, помахали ручкой, сказав, что уезжают в Псков – для алиби, – и думали, что все будет шито-крыто, дураки. Мы их, конечно, взяли, начали грузить мешки на подводу. А тут какая-то баба, соседка, – Парголово же деревня, кругом избы, люди, видят: милиция, шибутня какая-то, интересно! – как заорет: «Паразиты, мои мешки украли, мои это мешки, вон и дырочка моя!» Стал я объяснять, что отдадим мешки, не нужны они нам – какое там: отдавайте сейчас, и все! Пошел я в дом искать, во что бы переложить кожу, ничего не нашел. А надо сказать, что Дерюгин-отец, тот, который дворником работал, к тому времени уже умер, где-то на улице, от разрыва сердца, а жена его – еще раньше. Сынки пропили все, даже табуретки в доме не было. Ходил я по двору, ходил, забрел в сарай, увидел какую-то проволоку. Ею стянули кожу и увезли... Парней этих раскололи уже к вечеру: кожу они должны были перевезти на Скобелевский одному дядьке. Сказали номер дома, квартиры... А по нашим правилам вещественные доказательства мы обязаны сдать в кладовую в течение суток. Ты знаешь нашу кладовую – чего там только нет! Золото, меха, часы, ковры, отрезы... В ДЛТ такого не увидишь. И приемщики – спецы, на глаз определяют тебе любой товар: качество, марку, цену, кто делал, когда – и не ошибутся. Повез я сдавать кожу. Принимал золотарик Иван Дмитриевич Чупилин, Чупа, как мы его звали, – невзрачный такой мужичонка, маленький, вроде кособокий какой-то, но ас, знаток! Особенно – драгоценных металлов. Он проволоку щипчиками раскусил, кожу – на весы; проволоку тоже на весы, но на другие, маленькие. И пишет: кожа такая-то столько-

то; платина – килограмм восемьсот девяносто четыре грамма в виде проволоки. У меня глаза квадратными стали. «Иван Дмитриевич, а ты не шутишь?» Он только лыбится: «А ты что, не знал? Платина, чистейшая платина высокой пробы. Смотри, какая тяжелая. Она в три раза тяжелее железа...» «Ё-мое, – думаю, – откуда у этих бродяг столько платиновой проволоки?» Вызвал из тюрьмы старшего брата, завел разговор о коже – говорить-то, по сути дела, уже нечего, – потом, как бы невзначай, про проволоку... А он и отвечает, что, дескать, проволока и правда очень хорошая, не ржавеет, они с братом ею весь плетень вокруг дома обмотали. Ну, чудеса!.. Я уже на месте сидеть не могу, но спрашиваю: откуда она у них? Тут-то он и рассказал историю с папашей. Мы, конечно, парня обратно, а сами – в Парголово. Весь тын перебрали – и правда, колья спутаны были этой проволокой, – потом забрали бухты, валявшиеся в сарае, еще раз прочесали все насквозь, и получилось что-то около... Словом, солидно... Представляешь, как сгодились тогда нашему государству эта платина! В тридцатом-то году!..

Калинов бросил на стол коробок, который теребил в руках, встал, заходил в возбуждении по комнате.

– Ну вот, занимаемся платиной и одновременно кожей. У того дядьки на Скобелевском находим пять мешков с вырубкой – товар со «Скорохода». Для кого? А есть один мужик по фамилии Кислюк, он покупает кожу и хорошо платит. Живет Кислюк на Большой Зелениной. Берем его и его жену, а на квартире ставим засаду. За несколько дней попадают одиннадцать человек, клиенты. Толку от них мало: они – воры. У них одно: товар – деньги, куда дальше он идет, понятия не имеют, а Кислюк молчит. То есть не молчит, а крутит, врет, никак его не ушутить. Но работал он с кем-то, это было ясно. Вызвал я тогда на допрос жинку его. Пухленькая, веселая, разбитная, видно, хохлушечка. Так и так, говорю, дело-то пахнет керосином... Короче, не узнаем, с кем муж работал, – хана ему, придется за все самому отвечать. И тут она по-деревенски заголосила; бух на колени: не губите моего Гринко, по дурости связался он с этим околоточным, Александром Ивановичем, и с приставом, все это они, душегубы!.. Свихнулась, думаю, бабенка, чушь какую-то несет: какие околоточные, какие приставы на тринадцатом году советской власти! Спрашиваю. Нет, не свихнулась: Александр Иванович до революции был околоточным, а теперь работает по снабжению. Фамилию его сказала, где живет...

– Какая же его фамилия? – спросил Бенедиктов, откидываясь на спинку стула.

– Слабодской, жил он у Калинкина моста. – И, увидев, что Бенедиктов кивнул, продолжал: – А о приставе ничего не знает, ни фамилии, ни адреса. Ну нам и то хлеб. Берем Александра Ивановича; обыск на квартире дал потрясающие результаты – золото, драгоценности, шесть сберегательных книжек, на них, если не ошибаюсь, лежало что-то тысяч семьдесят... Допрашиваем. Точно, был околоточным...

В дверь постучали, тотчас просунулась голова в меховой шапке, быстро, как на шарнире, сделала кругообразное движение.

– Вы заняты?

– Иди, иди сюда, Камалетдинов, заходи! – крикнул Калинов, когда дверь уже захлопнулась, и кивнул Бенедиктову: – Прости, Сева, это недолго.

Камалетдинов мелкими шажками протопал к столу, держа несколько листов бумаги, положил их перед начальником.

– Ну что? – снизу вверх посмотрел Калинов на его сморщенное, без признаков растительности личико с заостренным носом.

– Он это. Признался, только сейчас, – ответил Камалетдинов, глазами показывая на бумаги. – Да тут было сразу ясно.

Калинов стал читать – брови его то вздымались, то падали, – но до конца не прочел, лишь посмотрел, держа листы на отдалении, заключительные строчки. Лицо его выражало брезгливость.

– Раз так, пусть несет ответственность по всей строгости законов военного времени и блокадного города, – сурово проговорил он и, отогнув изящно мизинец, что-то черкнул, широко и размашисто. – Все. Можешь идти.

Схватив бумаги, Камалетдинов неслышно исчез, даже не взглянув в сторону Бенедиктова.

– Вот она, война, – сказал в раздумье Калинов, кинув на стол ручку. – Черт знает что... – Хотел, видимо, поделиться о происшедшем, но передумал. – Ох, Сева, тяжело людям...

– Тяжко, да не всем, – возразил Бенедиктов, который вдруг явственно ощутил сладкий аромат горячего теста, хлынувший из квартиры на лестницу, а потом и спиртной запашок.

– Всем, всем... Тебе, что ли, не тяжело? Или мне?.. А если кто облегчает себе жизнь, то только за счет другого или других.

– Справедливо... Вот на этот предмет и поинтересуйся некоей Петраковой, управдомом жакта, тут, в твоём же районе.

– Как ты говоришь, Петракова? – Прищурившись, Калинов обмакнул перо в чернильницу, усмехнулся одним ртом. – Все боишься, что без работы останемся? Шучу. Ладно, поинтересуюсь... Ну, еще раз прости, что отвлекся... Так вот, околоточный Александр Иванович. С ним возни было немного: улики налицо – он быстро признался и все взял на себя. Дело у них было поставлено на широкую ногу. Он ездил на Украину, кожу выменивал на сало, сало жена продавала на Мальцевском рынке, ну и все такое прочее. Меня интересовал пристав. А о нем Александр Иванович ни гу-гу... И у меня ничего нет, одна эта должность. Попробовал сделать вид, будто мне многое известно, и между прочим спросил о приставе. Но мужик крепкий оказался, ни один мускул не дрогнул на его лице. (Бенедиктов улыбнулся: почитывает Калинов литературу!) «Какой пристав? Первый раз слышу». Хорошо, не хочешь говорить, как хочешь, тебе же будет хуже, иди подумай. А сам не знаю, с какого конца братья. Ломал голову и так и сяк... И вдруг пришла простая мысль: откуда они могут знать друг друга – тот полицейский и этот полицейский? Да по работе же! Александр Иванович был околоточным Коломенской части, логичнее всего – и тот оттуда же. Подняли архивы. В Коломенской части значились два частных пристава. Один был убит в первые дни революции, а о другом – ротмистре Сергее Аполлинарьевиче Нащекине – сведений не имелось. Запросили адресный стол. В городе Нащекины не проживали, в области тоже. И немудрено: уже потом я узнал, что Нащекин имел три паспорта и соответствующие документы. Жандарм, он ведь все паспортные дела назубок знал!.. Да... Все-таки зацепились мы за эту версию, стали отрабатывать. Как искали, тебе это неинтересно, да и не важно. Скажу только, что изрядно пришлось покорпеть. И вот попал в наше поле зрения служащий ЛЕНЖЕТа, некто Иванов Иван Владимирович, пятидесятишестилетний мужчина, дородный, чопорный, следящий за своей внешностью – усы нафабрены, эспаньолка... Сначала у нас было сильное подозрение, что это Нащекин, а потом и уверенность. Когда последнее сомнение исчезло, мы его аккуратненько на улице при всем честном народе и взяли.

– Минутку, – взмахнул рукой Бенедиктов. – Ты сказал, что у него было три паспорта. Третий – на чье имя, не помнишь?

– Почему же, помню отлично – на имя Кузьмина Ивана Георгиевича. Как видишь, фамилии самые заурядные, среди Кузьминых и Ивановых легче затеряться.

– А жил он где?

– Жил?.. Хм, это нелегко сказать. У него была дача в Дудергофе, купленная на подставное лицо; дачу содержала его сожительница. Была у него квартира в городе, в Соляном переулке, там хозяйничала другая его сожительница. И еще квартира – на Псковской улице, так сказать, рабочая. Но ни одна формально не принадлежала ему. Чаще всего он бывал на Соляном... Знаешь, Сева, если бы я тебе показал его, ты не поверил бы, что за этой респектабельной внешностью скрывается бандит, хищник. – Заметив снисходительную улыбку Бенедиктова, спохва-

тился: – Да ты, конечно, и не таких видел. Нашекин ворочал сотнями тысяч рублей, он держал в кулаке воров, известных ему еще с дореволюционных времен, скупщиков краденого, спекулянтов, да и самого околоточного тоже. Кроме того Александра Ивановича, через которого он действовал, его не видел никто и не знал его настоящего имени, даже его сожительницы.

– Разве семьи у него не было? – спросил Бенедиктов, поглаживая подбородок.

– Жена его умерла в начале двадцатых годов, и он остался один.

– А дети?

– Детей не было. То есть был сын... Владислав?.. Да, Владислав. Перед самой революцией он окончил Морской кадетский корпус, но в Гражданскую войну, видимо, был убит. Во всяком случае, Нашекин говорил, что сына он потерял. А у нас не было никаких данных о нем.

– Так, так, так... А что делал Нашекин в Тресте жиров?

– Щелкал костяшками счетов и выписывал накладные... Он сидел на мизерной должности счетовода. Как Корейко...

– Ну, спасибо, – сказал Бенедиктов, поднимаясь. – Надеюсь, что разговор останется между нами.

– Ты меня обижаешь, – встал и Калинов, – как будто я не понимаю...

– Обижайся не обижайся, но предупредить я тебя обязан.

11. Трое

Дом одиноко стоял у самого Финского залива. Сквозь широкие окна виднелись вздыбленные, налезшие друг на друга льды, которые уходили в спокойную белую даль. Вокруг тоскливо поскрипывали на ветру обсыпанные снегом мрачные сосны. Дом с резной башенкой сбоку был одноэтажный, деревянный, обшитый вагонкой; крутая двускатная крыша придавливала его.

В стороне проходила дорога на Раквере и Нарву, но скрежет танковых гусениц и шум моторов терялись на пути к казавшемуся необитаемым дому. Угрюмая тишина окружала его, ничем не напоминая о войне.

Однажды под вечер сюда подъехал, буксуя в слежавшемся снегу, серый «Хорьх». Из него вышли четверо – трое русских и обер-лейтенант Фогт. Встречать их выскочил на мороз хромой парень с бельмом на глазу, без шапки, в старой гимнастерке с расстегнутым воротом. Он проворно отпер двери, провел прибывших в довольно просторную угловую комнату – там уже были застелены койки и жарко натоплена круглая гофрированная печь; на столе, покрытом скатертью, графин с водой, стаканы, пепельница зеленого стекла...

Пока шуплый обер-лейтенант, прикрыв дверь, вполголоса отдавал распоряжения парню, старший из приехавших – высокий, ширококостный мужчина в черной шинели со знаками капитан-лейтенанта на рукаве – осмотрелся, подняв тяжелый подбородок, потом приказал густым басом:

– Кирилл, ляжешь здесь, – кивнул на койку у окна, – Николай, занимай ту. А это – моя...

Скинул ушанку на кровать, снял шинель – на синеве кителя заблестел орден боевого Красного Знамени, – походил по комнате, заглянул в окно.

– Неплохо, жить можно... Правда, Кирюха? – Опустил горячую ладонь на спину Кириллу: – Что приуныл, товарищ?

Кирилл, не отвечая, поставил на тумбочку мешок с рацией, отряхнул руки и, налив в стакан воды, выпил с жадностью крупными глотками.

– Не трожь его, Степа, он сегодня с утра не в духах, – откликнулся Николай, вешая на гвоздь новенький «ППД».

– Господа, дом в вашем распоряжении, – сказал обер-лейтенант Фогт на чистом русском языке. Он остановился у порога; сквозь очки проглядывали строгие глазки. – Занимайтесь и отдыхайте пока, сосредоточьтесь, ближе познакомьтесь друг с другом, – впереди у вас трудная работа. За всем, что нужно, обращайтесь к вестовому. Зовут его Григорий. – Вытащил из-за двери бельмастого парня, показал, отправил обратно. – Можете гулять, но далеко ходить не рекомендую. Вживайтесь в роль, соответствующую легенде. Мы будем вас навещать, а вы будьте в полной готовности. Хайль! – Щелкнул каблуками и уехал.

Еще слышно было натужное взывание «Хорьха», вылезавшего на дорогу, а Степан уже крикнул вестового. Тот, однако, не спешил. Степану это не понравилось. Выругавшись, он медленно прошел к двери, пхнул ногой.

– Гришка, мать твою за ногу! Глухой, что ли? Иди сюда! – И, когда тот возник перед ним, не ведая, впрочем, страха, сказал уже тише, загибая крупные пальцы: – Тащи-ка, мил друг, шнапсу – раз, да не скупись, закуски какой-нибудь – два, сигарет, только не очень вонючих, – три...

– Гитару прихвати, – подал голос из угла Николай.

Услышав про шнапс, Кирилл поднял тонкое, до неприятности красивое лицо с аккуратным носом, маленьким ртом и длинными черными ресницами; глаза стали лакированными. С поспешностью переставил графин на подоконник, пододвинул стулья и сел, бросая нетерпеливые взгляды на дверь.

Припадая на одну ногу, Григорий втащил поднос с тарелками, коробками консервов и бутылкой посередине; на согнутом локте, мешая идти, болталась на замусоленной голубой ленте старая гитара с голой красоткой на деке. Николай схватил гитару, стал настраивать. Кирилл принялся открывать консервы. Степан снял бутылку, разочарованно скривив губы:

– И всего-то?..

– Больше не положено, и то только сегодня, – сказал Григорий.

– Ладно хоть не блевонтин, – вздохнув, смирился Степан и уверенно свинтил крышку. Разлил по стаканам, повернулся к Николаю: – Бросай гитару, займемся делом.

Николай охотно пересел к столу. Круглое простоватое лицо его – нос сапожком, живые, но неопределенного цвета глаза, брови белесые и такие же ресницы – выражало бодрость и оптимизм. Он взял пальцами ломтик консервированной колбасы, выпрямился, поднял стакан:

– Ну, за удачу!

– Обожди, обожди, за удачу еще успеем, – перебил Степан, недовольный тем, что его опередили. – Сперва выпьем за фюрера, как положено.

Выпили. Степан шумно дохнул, подцепил алюминиевой вилкой сардину, пожевал. Красавчик Кирилл, хмелея на глазах, обмяк, заулыбался умиротворенно – открылись кривые, налезавшие один на другой зубы.

– Хорошо тут... Вот за эти бы дни война кончилась, и все к чертям собачьим...

– Не-ет... За эти дни не кончится, – серьезно возразил Степан, – но скоро... К тому дело идет. Скоро заживем по-новому. Каждый за себя будет стараться, только за себя! Немцы нам помогут. Они умеют... А пока надо им послужить. И не бояться. Как трусишь – так пиши письмо праотцам. Вы еще салажата, а мне уже тридцать четыре. Я все повидал, в каких только переплетах не был! Вам такого и в страшном сне не снилось. И скажу: никогда у меня не было страха, не знаю, что это такое... Таким уж мать родила...

– Ну да... – усомнился Кирилл, хихикнув, – заливаешь! Так не бывает.

– Не веришь? – взревел Степан и придвинулся к нему. – Мне не веришь? Потому что сам трус, наверно.

Кирилл отскочил в сторону, но тут вступился Николай, попридержал его за локти.

– Верит, верит, – примирительно сказал он Степану, – не видишь, что он тебя заводит, сядь. – И ловко перевел разговор на баб.

Предмет был для всех интересный, но в бутылке уже ничего не осталось, а беседа требовала продолжения. Степан снова позвал вестового:

– Слушай, друг, еще бутылочку...

– Нельзя, норма, – угрюмо сказал Григорий, глядя в пол.

– Одну... Только одну... Мы все тебя просим... Человек ты или кто?

– Не могу, ребята, сказано нельзя, значит нельзя. Здесь строго.

Григорий захромал прочь от двери, вслед ему Степан пробурчал злобно: «У, сволочь косоглазая, ублюдок, креста на нем нет». Но не утомился, минут через десять сам побежал к вестовому. Возвратился повеселевший:

– А ну, живо, у кого какое шмутье, давай сюда. – И полез в рюкзак, достал немецкие сапоги, перевязанные веревкой. – Я да не уговорю...

Свернули узел – у кого оставалась старая куртка, у кого рубаха... Степан отнес узел Григорию. Когда вернулся, потряс над головой ручищей: «Порядок!»

В томительном ожидании прошел час. Николай тренькал на гитаре, пел тенорком то грустные песни, блатные, то похабные, веселил байками и анекдотами. Наконец пришел Григорий, румяный и холодный, вытащил из карманов две бутылки самогона с затычками из газетных катышков, озираясь, поставил на стол.

– Ну молодец, паря! Ну молодец! Уважил... Садись с нами, пригубь за труды, – гудел Степан, щедро наливая ему первача. – Я сразу увидел, что ты человек... Не ошибся.

Григорий сел бочком на стул, польщенный его словами.

– Первые вы такие, что ли, – улыбнулся губатым ртом, – знаю, что нужно вашему брату. Я здесь уже второй месяц, отправлял и на Питер, и на...

– Во-во, и мы туда же, – перебил его Кирилл, уже не владевший своим телом после пол-стакана самогонки, – а что будет – не знаем...

Степан резко и зло тряхнул рукой в его сторону:

– Кончай разговор о делах. Наши дела – это наши дела. Со смертью в кошки-мышки играем – кто кого...

Не слушая его, Кирилл налил себе еще до краев, выпил разом с каким-то отчаянием и, сокрушая стулья, натываясь на косяки, рванулся на двор блевать; вполз обратно пепельно-серой тенью, в испарине, стонущий, с перекошенным ртом, повалился на койку и намертво отключился.

Степан пил не переставая и, казалось, не пьянел. Лишь речь стала замедленной, рваной, расширились зрачки и лицо приняло свекольный оттенок.

Во двор въехала машина, поурчала, затихла. Бибикнула коротенько дребезжащим фальцетом.

– Это меня, – повернул голову к окну Григорий. – Товар привезли. Ну, спасибо за угощение.

Он вышел на улицу. Черный сундук фургона, поставленного задом к самому дому, заслонил луну, кусок темно-синего, с редкими блестками звезд неба. Слышались голоса, хруст снега под ногами. Григорий отыскал сопровождавшего машину офицера. Им оказался пожилой капитан с головой, обмотанной женским платком.

– Warum machst du warten? Du verstehst nicht die Zeit zu schätzen. – Голос у капитана был высокий, неприятный. – Der Wagen müssen arbeiten und die Leute müssen auch arbeiten, nicht stillstehen. Mach schneller auf!²

Шофер, неторопливый эстонец, обстукивавший сапогом колеса фургона, услышал речь капитана, подошел к нему.

– Herr Hauptmann, das ist ein Russe, er spricht deutsch nicht³, – повернулся всем телом к Григорию. – Господин капитаан нетофолен, он гофориит, что нато скорей открывать склаат.

Григорий снял замок с каптерки. Два солдата начали таскать ящики, коробки, кули. Капитан, сев на бочку, засунул руки в рукава шинели и задремал.

Пока машина разгружалась, шофер поднял капот и, перегнувшись, стал что-то подвинчивать отверткой при свете маленькой аккумуляторной лампочки. Григорий подошел к нему, тоже сунул голову под крышку – от мотора веяло теплом.

– Барахлит?

– Та неет, контакты нато почистить. – На Григория уставились внимательные карие глаза. – Ну?..

– Приехали, сегодня. – Голос Григория снизился до полупшепота, заговорил отрывисто, четко, словно отбивая телеграфным ключом. – Из Таллина... Трое... Моряки... Старший – Степан... Капитан-лейтенант... Орден Красного Знамени... Кирилл, Николай – рядовые... Один радист... Фамилии неизвестны... Готовят на Ленинград...

– Транспорт?

– Пока неясно.

– Понял. – Громко: – Ты что думаешь, мне помогаешь? Тал пы лучше шкурки, чем стоять пез дела. У тепя есть мелкая?

² Почему заставляешь ждать? Ты не умеешь ценить время. Машина должна работать, люди должны работать, а не стоять. Открывай скорее! (нем.)

³ Господин капитан, он русский и не говорит по-немецки (нем.).

– Вроде есть, пойдем поищу, – ответил Григорий, выпятив нижнюю губу. И они пошли в каптерку.

Последующие дни были монотонными, серыми, как армейское сукно: вставали в восемь, разминались, пили темную бурду, именовавшуюся кофе, с маленькими и тоненькими кусочками довольно свежего хлеба (выпечки тысяча девятьсот тридцать девятого года – по клейму на целлофановой обертке) и расходились по углам. Кирилл включал паяльник, подпаивал разноцветные проводочки в рации, воняя канифолью, потом шел во двор с мотком провода, забрасывал антенну на одну сосну, противовес – на другую, сматывал, обсыпаясь мягким, пушистым снежком, искал новое дерево... Николай валялся в тельняшке на кровати, зубрил уставы Красной Армии. Степан ходил крупными шагами тут же, заложив руки за спину, что-то бубнил себе под нос. Неожиданно тыкал пальцем в Николая: «Ты из энкаведэ. Спрашивай». Николай поднимался резво, сжимал губы, насупливал брови: «Товарищ капитан-лейтенант, ваши документы... Так, фамилия?» Степан отвечал не запинаясь: «Калмыков Степан Федосеевич. Родился в деревне Гужи Вятской губернии в тысяча девятьсот шестом году в семье крестьянина-бедняка...» Ответив, сам спрашивал Николая: «По каким улицам пойдешь из Торгового порта на Петроградскую?.. Где находится улица Марата?..»

После тощего обеда вылезали втроем без особой охоты на залив (надо стаптывать ботинки, обнашивать форму!). Разговаривать было не о чем, бескрайние льды наводили тоску, тишина и безлюдье страшили. Впрочем, однажды Николай увидел стоявшего вдали под сосной гитлеровца в каске и с автоматом, показал на него Степану, но тот и смотреть не стал: и так было ясно, что их не оставляли без присмотра. Потоптавшись бесцельно с полчаса, плелись обратно в прокуренный, заплывающий, провонявший потом, грязью, но хоть теплый дом.

Еды Григорий приносил мало – столько, сколько приказано: не дай бог откормленными телесами гости навлекут подозрение в блокадном городе! С выпивкой дело обстояло совсем плохо. Степан, никогда не ругавший фашистов, возроптал: «На такое дело идем, могли бы не покуситься, угостить по-божески. Да им не понять...» Потому чаще всего разговоры крутились вокруг бутылки. Редко, но удавалось перехватить с помощью Григория литровку самогона. Один раз Кирилл сбегал на хутор, выменял. Но барахлишко не вечно – быстро спустили все, что оставалось, и сели на мель. Настроение падало. Взбодрить его было нечем.

Наведывались инструкторы: насквозь продушенный румянький толстячок с низким лбом – Ржезинский, веселый похабник Воронцов, о котором говорили, будто он из тех графов, с ними неизменно находился обер-лейтенант Фогт. Господа устраивали проверки, наставляли, шутили, стараясь развеять постные физиономии обитателей дома, и укатывали обратно, оставляя после себя лишь аромат тонких духов Ржезинского, но не сказав главного – когда?..

Неизвестность томила. Со Степаном творилось неладное: он вздрагивал от каждого звука мотора, любая мелочь его бесила. Однажды, когда Николай заиграл на гитаре, Степан подошел к нему – лицо бледное, крупные ноздри раздувались, – заорал:

– Да брось ты к... матери эту чертову бандуру! Или я сам ее расколочу. Тебе что, весело, да? Весело?

– Почему весело? – сказал Николай, откладывая гитару в сторону. – Осточертело сидеть в этой дыре. Дела хочу, хоть какого-нибудь дела. Скорей бы...

– Дела, дела... Много ты понимаешь в делах...

Кирилл, отвлекшись от «лягушки» (он вхолостую работал ключом – развивал кисть, к тому же отвлекала морзянка от дум, успокаивала нервы), покосился на Николая:

– Скоро, говорят, только кошки родятся... Куда торопиться? Здесь хоть тепло и не дует. Я бы сидел тут хоть год.

Ночью Николай проснулся от шороха. В темноте виднелась расплывчато согнутая фигура Степана. Он сидел на койке в исподнем белье, спустив ноги на пол, курил. Пепельница на

стуле у изголовья – полна окурков. «О чем он?.. Что замышляет?» – насторожился Николай, не шевелясь и наблюдая за ним из-под одеяла.

О своих помыслах здесь не говорили, держали при себе. Здесь каждый сам за себя, потому что кто рядом с тобой – неведомо. Что он знал о Степане? Кажется, сын фабриканта, а кто-то трепал, якобы сидел за убийство... Но все по слухам. А Кирилл? Кем был раньше? Откуда? Из каких мест? Как очутился у немцев в разведывательной школе? Неизвестно. Зато в школе остерегались его: поговаривали, и то намеками, с недомолвками (кругом уши!), будто этот хорошенький мальчик – стукач и провокатор, будто двоих повесили по его доносам... И платили ему фашисты хорошо: не отправляли за фронт, держали в тепле. Теперь, наверное, проштрафился... Но разве о Николае больше известно? И у него свои тайны, свои думы, запятанные глубоко, как Кошечева смерть. Никто их не знает и не должен знать. Никто! Иначе...

Должно быть, сигареты кончились. Пошныряв в пепельнице, Степан вынул окурочек. Скурил и его, шумно вдыхая дым; помассировал грудь, вздохнул и закинул ноги на койку.

Бормотал что-то во сне, вскрикивал Кирилл. Николай долго еще лежал без движения, пока не забылся.

Вскоре после обеда приехал обер-лейтенант Фогт. Глаза за роговыми очками торжественно-оживленные.

– Как самочувствие, господа? Как настроение? Прошу собираться. Едем.

Началась предотъездная суэта, впрочем, недолгая. Свалили посреди комнаты вещевые мешки, рацию, автоматы; оделись, сбегали во двор, в деревянную будку... Обер-лейтенант, не снимая шинели, сел за стол, поставил на грязную скатерть бутылку французского коньяка, достал лимон, пригласил всех.

– Давайте по вашему русскому обычаю посидим перед дальней дорогой, чтобы все задуманное свершилось. – Сам нарезал лимон, разлил коньяк по стаканам, себе – чуть на донышко.

Кирилл подернул ноздрями, приосанился, посмотрел весело на Николая. Степан потирал руки, предвкушая удовольствие. Чокаться не стали, выпили. Кто-то крикнул: «Хорошо!» Пожевали кислые дольки. Потом посидели с минуту молча и поднялись.

У крыльца их ждал тот же серый потрепанный «Хорьх». Обер-лейтенант предусмотрительно задернул голубые занавесочки на окнах, дождался, пока все не устроились, и тогда сел рядом с шофером.

Куда поехали, обер-лейтенант не сказал, а спрашивать не полагалось. Николай чуть сполз с сиденья, чтобы через плечо шофера видеть дорогу. Проносились навстречу машины; бил по ушам гонимый ими воздух. Наконец поймал глазом указатель, определил: в сторону Ленинграда.

Ехали долго. Красный круг солнца опускался за мрачно темнеющие зубчики елей; скоро исчез совсем, оставив на небосклоне лишь нежно-розовый отсвет.

Уже в темноте, перед тем как выскочить на мост, их обстреляли. Несколько винтовочных выстрелов раздалось одновременно с обеих сторон дороги; одна пуля пробила стекло, обсыпав осколками Степана, но не задев его.

– Пригнитесь, – дернулся обер-лейтенант и – шоферу: – *Bleibe nicht stehen, Friedrich, vorwärts, vorwärts!*⁴

Что-то гроыхнуло позади, по-видимому, разорвалась граната, но машину не повредило, и «Хорьх», вздрагивая, понесся дальше по шоссе. Когда, казалось, опасность миновала, все выпрямились. Успели заметить полыхающий на обочине грузовик вверх колесами, мечущихся в суматохе солдат...

⁴ Не останавливайся, Фридрих, вперед, вперед! (нем.)

– Vorwärts, vorwärts, nicht stehen bleiben!⁵ – повторял обер-лейтенант вцепившемуся в баранку шоферу.

– Verfluchtes Ort! Hier ist eine Menge von Partisanen, – проворчал тот, – und du weist nicht, wo man dich erschiesst...⁶

Ругаясь вполголоса, Степан смахивал осколки с шинели; Кирилл, обхватив рацию на коленях, пришибленно затих...

После двух или трех следующих друг за другом проверок документов (с дежурными надменно и сухо разговаривал обер-лейтенант, не давая им заглядывать в глубь кузова) «Хорьх» свернул на узкую, в ухабах, дорогу и остановился возле заваленной снегом землянки.

В ней было сыро, но тепло; пахло пиретрумом. На грубо сколоченном столе рядом с полевым телефонным аппаратом горела оплывшая свеча в самодельном, из гильзы, подсвечнике; в углу, возле ящика, скопление коньячных бутылок; портретик Гитлера перед входом... Приведя группу, обер-лейтенант приказал ждать и удалился. Минуту спустя в землянку вошел Ржезинский, обдав знакомым запахом духов. Он был в немецкой форме майора; пухлый живот выпирал из-под шинели. Ржезинский остановил на каждом внимательный, проникающий насквозь взгляд, словно взвешивал, можно ли доверять тайны; положил на стол крупномасштабную карту.

– Прошу всех сюда. – Трое склонились над ней. – Слушайте и запоминайте. Ваша задача – незаметно проникнуть в город. Будете двигаться вдоль стрелки Морского канала по азимуту, – провел по карте розовым шлифованным ногтем линию, назвал координаты, – с выходом в район порта. По нашим данным, здесь есть проход. В случае непредвиденных обстоятельств отходить назад, в бой не вступать.

Помолчал, давая словам осесть в головах; вскинул рукав, посмотрел на часы.

– Теперь адрес, – седые брови поднялись, лоб исчез совсем. – Малая Подъяческая, семь, квартира восемьдесят восемь. Запомнили? Малая Подъяческая, семь, квартира восемьдесят восемь. Спросите Михаила Николаевича. Скажете: «Есть вести от брата». Ответные кодовые слова: «Неужто Семен жив?» Тогда передайте эту почтовую марку. – Ржезинский дал каждому по советской марке. – От Михаила Николаевича получите необходимую помощь и материалы. Калмыков, – не поворачивая головы, посмотрел на Степана, – и вы, Пряхин (Кирилл вытянулся), завтра явитесь в военкомат как излечившиеся в госпитале для направления в части. А вы, Мартыненко, вернетесь сюда, тем же путем, через пятнадцать суток. (Николай кивнул.) Будем вас ждать. Пряхин, запомните: выход в эфир по вторникам, четвергам и воскресеньям в двенадцать пятнадцать на второй волне. Вариант шифра – третий... Ясно? Кому что неясно, спрашивайте.

⁵ Вперед, вперед, не останавливаться! (нем.)

⁶ Проклятое место! Здесь полно партизан, не знаешь, где тебя подстрелят... (нем.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.